

157
267

В. П. Авенариусъ.

247

ОПАЛЬНЫЕ.

А 19

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
изъ временъ царя Алексѣя Михайловича.

Съ 16-ю рисунками И. Ф. Никонова.

Цена 1 р. 50 к., въ пасть 1 р. 75 к., въ перелетъ 2 р. 25 к.



99.37-624

Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова.
Лештуловъ переулокъ, д. № 2—80.

Василий Петрович Авенариус

Опальные

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

#1	0006
Пролог ОПАЛА	0007
Глава первая НОВЫЙ ЗИГФРИД	0031
Глава вторая ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ	0046
Глава третья САМОЗВАННЫЙ СОКОЛЬНИК	0061
Глава четвертая ГОСУДАРЕВ УКАЗ	0070
Глава пятая РЫБОЛОВЫ	0083
Глава шестая БЕГЛЕЦ	0093
Глава седьмая ПРО СТЕНЬКУ РАЗИНА	0110
Глава восьмая НА ХЛЕБ И НА ВОДУ	0122
Глава девятая НАУТЕК И В ПОГОНЮ	0134
Глава десятая ОТ ТАЛЫЧЕВКИ ДО АСТРАХАНИ	0153
Глава одиннадцатая АСТРАХАНСКИЕ ВОЕВОДЫ И ВОЛЬНИЦА КАЗАЦКАЯ	0193
Глава двенадцатая СТЕНЬКА РАЗИН	0212
Глава тринадцатая ВЫКУП	0228
Глава четырнадцатая КАЛМЫЦКИЙ ПРАЗДНИК	0239
Глава пятнадцатая НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА	0250
Глава шестнадцатая В ГОСТЯХ У РАЗИНА	0259
Глава семнадцатая КНЯЖНА-ПОЛОНЯНКА	0270
Глава восемнадцатая В ЗАПАДНЕ	0283
Глава девятнадцатая "САРЫНЬ НА КИЧКУ!"	0297

Глава двадцатая ЖЕРТВА ВОЛГИ-МАТУШКИ	0319
Глава двадцать первая ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ	0333
Глава двадцать вторая КОНЕЦ РАЗИНА	0350
Глава двадцать третья КОНЕЦ ОПАЛЬНЫХ .	0366

В. П. Авенариус

Опальные

**Историческая повесть для юноше-
ства из времен царя Алексея Михай-
ловича.**

Пролог ОПАЛА

Великолепные для своего времени белокаменные палаты думного боярина Ильи Юрьевича Талычева-Буйносова на Басманной в Москве, с многочисленными службами и холодными пристройками, стояли в глубине обширного двора. На улицу выходили только узорчатые тесовые ворота, над которыми висела икона великомученика Георгия Победоносца — покровителя именитого рода Талычевых-Буйносовых.

Из этих-то ворот солнечным июньским утром 1659 года потянулся по направлению к Кремлю целый поезд. Впереди бежали попарно десятка три холопей в долгополых сермягах. Размахивая саженными палками, они кричали во все горло на проезжих и проходящих: «Ги-и-ись!» — что означало: «Берегись!» За холопями скакали верхами, также попарно, несколько боярских «знакомцев», иначе приживальцев и прихлебателей из бездомных дворян, в разноцветных однорядках и

шапках-мурмолках, за «знакомцами» же громыхала боярская колымага, запряженная шестеркой на славу откормленных, чубарых коней, подобранных под тигровую масть и сверкавших на солнце серебряной упряжью.

Сидели в колымаге всего двое, но не рядом. На заднем сиденье развалился мужчина лет сорока пяти, в котором, как по его сановитой дородности, так и по богатой узорчатой ферязи и высокой «горлатной» шапке, можно было безошибочно признать самого боярина Илью Юрьевича. Против него на передке пригнулся сухопарый человечек с быстрыми глазками и шутовскими ужимками. По выпавшей на его долю чести сидеть с самим боярином и по его нарядному цветному кафтану можно было догадаться, что человечек этот состоит при боярине на особом положении. И точно, Емельян Спиридонович Пыхач, при всей зависимости от своего «кормильца и благодетеля», был, можно сказать, ближайшим его другом и приятелем. До тонкости изучив крутой нрав и все самодурные прихоти Ильи Юрьевича и умело под них подлаживаясь, он мало-помалу настолько стал близок

боярину, что тот не мог уже обходиться без своего «Спиридоныча», принимал его советы и довольно терпеливо выслушивал от него даже разные горькие на свой счет истины. Правда, что их горечь Пыхач услащал обыкновенно прибаутками, поговорками и вообще дешевым юмором, прикидываясь простачком и дурачком, за что заслужил также прозвище Емельки-дурачка. Имелись у Ильи Юрьевича в его родовой усадьбе Талычевке, конечно, по обычаю того времени и заправские домашние шуты: карлик и карлица, но перед Спиридонычем те давно уже стушевались и потешали больше молодую боярыню и ее трех малолетних деток.

И теперь Пыхач старался веселой болтовней разогнать тучи с хмурого чела своего патрона, но безуспешно.

— Экий язык у тебя, Спиридоныч! — проворчал Илья Юрьевич. — Звонит, звонит без устали, что твой колокол церковный.

— А что же, батя, — отозвался Пыхач, — трезвон — дело богоугодное. И нынче вот, покудова ты вчерашнюю дурь свою просыпал, я побывал уже на Иване Великом, по душе на-

звонился со звонарем...

— Ты про какую такую вчерашнюю дурь поминаешь? — с неудовольствием прервал его боярин.

— Да про то, как ты опростоволосился с Милославским.

— А Кондратыч тебе уже наплакался на меня? Да как он, подлый раб и смерд, посмел...

— Поросянок только на блюде не хрюкает. Да что с него, старой крысы, взыскивать! Ведь он же тебя сызмальства еще птичьей потехе обучил, тобой же в старшие сокольники поставлен, а ты вчерась на царской охоте в Коломенском и его-то, и себя самого твоим лучшим кречетом перед всем миром ославил.

— Чем ославил? — вскинулся Илья Юрьевич. — Салтан мой показал себя прытче всех прочих ловчих птиц. И государь, и все бояре на него просто залюбовались, когда он взмыл этак под самые небеса да камнем вдруг как ринется с вышины на молодого гуся, вместе так и упали к нашим ногам.

— И Милославский спросил тебя тут, какая цена твоему кречету?

— Ну да, спросил.

— А ты что же ему в ответ?

— Что такой птице цены нету.

— Эку штуку отмочил! Ах ты, малолетний!

— Что? Что?

— Знамо, мальчонка, да несмышленный. Не поскорби на меня, Илья Юрьич, за правдивое слово. Не любо тебе, когда против шерсти глажу? Нешто муж истинно рассудливый, а тем паче думный боярин, может так ответствовать тестю государеву? Ведь Милославский в вашей боярской думе, да и во всех иных делах на Москве, один, почитай, верховодит.

— Не один, а вкупе с другим моим недругом, Морозовым. Оба забрали власть непомерную.

— Час от часу не легче: Морозов — дядька царский. Брыкливость с ними, батя, надо по боку. Не тот борец, что поборол, а тот, что вернулся.

— Так что же, по-твоему, мне должно было сейчас так и уступить Салтана за сходную цену?

— Боже тебя упаси! Не продать, а в дар принести с земным поклоном да с присядкой:

«Прими, мол, милостивец, за честь себе поставлю».

— Ну, уж нет, извини! Иное дело, кабы самому государю поднести...

— И распрекрасное бы дело! Экий ведь ты недогадливый! Русский человек всегда задним умом крепок. А теперь того и жди на себя всяких потворов и наветов.

— И пускай! Боюсь я их, что ли? Еще вечер за ужином, как отбыл государь, я им обоим, Милославскому и Морозову, правду-матку в лицо так и резал...

— За ужином? Когда шмели в голове уже звенели? Эх, батя, батя! В хмелю ты ведь, подобно льву рыкающему, ходишь вокруг, ищущи, кого бы пожрати.

— Ладно, дурак, будет!

— И глух, и нем — греха не вем.

Оба замолчали. Тем временем громоздкая колымага, окруженная облаком пыли, с глухим грохотом прыгала по немощеной мостовой, изрытой ухабами и рытвинами, колыхая боярина и его друга-приживальца из стороны в сторону, как в челноке на бурном море.[1] Так миновали они Покровку, Маросейку; вот

и Ильинка, а за нею сейчас и Красная площадь...

Как вдруг под самым сиденьем боярина раздался предательский треск, колымагу накренило набок, и кузов ее застучал уже прямо по земле.

— Стой же, болван, стой! — заревел Илья Юрьевич вознице.

Но сразу задержать расскакавшихся коней было не так-то просто. Поврежденный экипаж протащило далее еще не одну сажень. Когда подбежавшие холопы высадили своего господина из колымаги, то выяснилось, что одно из задних колес отскочило, и ось, волочась по земле, с конца расщепилась. Хотя само колесо и уцелело, но укрепить его на расщепленную ось нельзя было и думать. Слезший с козел толстяк-кучер не успел еще сказать что-либо в свое оправдание, как получил от боярина такую затрещину, что едва устоял на ногах, после чего смиренно заявил, что рядом в тупике есть кузня, где ось живой рукой починят.

Кузнец, действительно, оказался мастером своего дела, но работал, что называется, с про-

хладцей. Среди двора кузницы, на самом солнцепеке, лично наблюдая за его работой, Илья Юрьевич горячился, рвал и метал, не скупясь на разные отборные словца из своего обширного бранного словаря. Но дело оттого мало спорилось, сам же он от солнечного зноя и душевного волнения дошел, так сказать, до красного каленья. Когда, наконец, час спустя, колесо было опять водворено куда следует и боярина подсадили обратно в колымагу, на теле у него не осталось сухой нитки, а с пылающего лица его пот катил в три ручья.

— Вперед! — отдуваясь, крикнул он и грузно опустился на подбитую конским волосом подушку. — Хоть бы до конца смотра поспеть.

Возница щелкнул кнутом, и шестерка вывезла колымагу из тупика, предшествоваемая тем же многоголосым пронзительным криком холопей:

— Ги-и-ись!

Миновав и Кремль, понеслись по Пречистенке. Но подходил уже обеденный час, лавки по пути одна за другой запирались, а когда впереди открылось Девичье поле, и за ним над зубчатой стеной Девичьего монастыря за-

блистали золотые маковки церковные, — с поля навстречу боярскому поезду повалил толпами народ.

— Вот и народ уже расходится! — заволновался снова Илья Юрьевич. — Стало быть, смотру конец, а все это распроклятое колесо!..

— Ну, тишайший царь наш с тебя не взыщет, — старался успокоить его Пыхач. — А к иордани все еще поспеешь.

Дело в том, что кроме обычных двух торжественных водосвятий: 6 января, в день Богоявления, перед Кремлем у Тайницких ворот, и 1 августа, в день Происхождения Честных Древ Креста, под Симоновым монастырем, — при царе Алексее Михайловиче во время великих смотров на Девичьем поле сооружалась еще особая летняя иордань на большом пруде около Девичьего монастыря. Служила она, однако ж, не для водосвятия, а для купанья в платьях молодых стольников и стряпчих, запоздавших на смотр. Само по себе уже такое публичное купанье в летнюю пору, взамен заслуженных батогов, считалось у придворной молодежи того времени своего рода удалством. А так как погрузившиеся в

иорданскую купель приглашались еще затем, не в пример другим сослуживцам, к трапезе в царских шатрах, то находилось немало охотников нарочно запаздывать на смотр.

К боярам, как к самому почетному сословию московского государства, эта потешная мера взыскания, понятно, не применялась, тем более, что они, уже в силу своего высокого общественного положения, допускались к царскому столу.

Едва только взмыленная шестерка боярина Ильи Юрьевича остановилась против царских шатров, и сам он, пыхтя и обливаясь потом, при помощи подскочивших к нему холопей выполз из колымаги, как перед ним очутился придворный служитель и с какой-то странной усмешкой пригласил его пожаловать к иорданской купели.

— Чего ты ухмыляешься, глупая твоя образина? — оборвал его боярин. — А стольники где же, что никто меня тут не встретит?

— Встретят твою милость, встретят; пожалуй, только в пруду.

И, прыснув со смеху чуть не в лицо боярину, служитель отбежал в сторону.

— Что-то, батя, неладно, — буркнул Илья Юрьевич и с высоко поднятой головой направился к пруду, где царедворцы сгруппировались перед самой купелью.

Доносившиеся оттуда плеск воды и дружный хохот свидетельствовали, что купанье запоздавших придворных чинов уже началось. Но вот зрители поспешно расступились, чтобы не быть забрызганными выкупанным сейчас молодым стольником. Выступал он бодро и весело, как ни в чем не бывало, хотя вода струилась ручьями со всего его нарядного кафтана и с прилипших к мокрому лицу волос. На шуточные же замечания окружающих он, отряхавшись, не оставался в долгу:

— Аль завидно, что потешил государя-батюшку? Что царской хлеба-соли отведаю, слаще вашего пообедаю?

В это самое время подошел и Илья Юрьевич. Взоры всех с весельчака-стольника невольно обратились на почтенного боярина. Завидел его и Борис Иванович Морозов, бывший дядька, а теперь ближайший советчик молодого царя, и двинулся ему навстречу.

— По здорову ли, боярин? Не огневица ль у

тебя, упаси Бог?

Сквозь притворное участие Илье Юрьевичу слышалась явная ирония. Но еще более портить натянутые отношения с Морозовым не приходилось, и он ответил отрывисто, с сухой вежливостью:

— Спасибо за спрос... Жарища адская... дышать нечем...

— От вчерошнего, знать, еще не остыл? Мы тут так и чаяли, что тебе в охоту искупаться. Пожалуй, батюшка, пожалуй. Эй, вы, купальные! Подсобите-ка боярину добраться до купели.

Илья Юрьевич от неожиданности просто обомлел. Не пришел он еще в себя, как подбежавшие к нему двое «купальных» из придворных «жильцов» подхватили его уже под руки и повлекли к купели. А вон, против купели, восседает на кресле и сам государь, около государя, опираясь на свой посох с золотым набалдашником, стоит маститый тесть государев, Илья Данилович Милославский, кругом — все прочие приближенные царя: Ордын-Нащекин, Трубецкой, Куракин, Шереметьев, Стрешнев... И все-то, глядя на бояри-

на, влекомого насильно к купели, не возмущены, а улыбаются — все, за исключением самого государя, который, словно его жалея, потупил очи в землю.

С силой оттолкнув от себя обоих купальных, Илья Юрьевич рванулся к царю и упал ему в ноги.

— За что, государь, помилуй, за что?!

Хотя царю Алексею Михайловичу в ту пору не минуло еще и тридцати лет, у него замечалась уже склонность к дородству. При его высоком росте, однако, некоторая полнота тела придавала ему еще только большую величавость. Прямодушное же выражение его благородного, цветущего лица, его голубых глаз смягчало те вспышки гнева, которым он временами был подвержен. Сегодня, впрочем, он не был гневен, в чертах его можно было прочесть только грусть и строгость.

— За что? — повторил он. — Забыл ты, боярин, видно, свои вчерашние негожие слова про боярскую думу?

— Да тебя самого, государь, за столом тогда уже не было.

— А без меня, по-твоему, у боярской думы

нет и чести? Отпускал я тебе вины уже не однажды...

— И на сей раз, может, отпустишь, коли выслушаешь меня, дашь мне оправиться перед тобою.

— Говори.

— Не велеречив я, государь, в словесте не искусен, как иные прочие. Вечор же у меня в хмелю язык развязался, что на уме, то и на языке. «Благожелателям» же моим то и на руку, давай меня еще пуще подзадоривать. Ну, кровь в голову, в очах круги пошли. Бухнул я им без утайки да без прикрас про нашу боярскую думу все, что и многим, пожалуй, ведомо, да сказать про что ни у кого духу не хватает. Разбери же сам, государь, так ли все, аль нет! На правый суд твой всерабственно уповаю.

— Что скажешь ты на это, Илья Данилыч? — отнесся царь к старику-тестю.

— Скажу, государь-свет, — отвечал Милославский, — что будь то простые застольные перекоры бояр промеж себя, не след бы нам твою царскую милость, Помазанца Божия, и беспокоить. Мало ли что за столом к слову

молвится! Но кому ты, государь, доверяешь вершать наиважнейшие дела твоего государства, как не боярской думе? На ком лежит первая забота о благоденствии твоего народа, о величии твоего царствования, как не на той же думе? И ее-то, вершительницу судеб народных, защитницу престола, думный же боярин зря поносит!

— Да сделал он это, слышишь, в хмелю... — вступился за обвиняемого «тишайший» царь.

— Прости, надежа-государь, но и в хмелю думному боярину негоже забывать достоинство боярской думы. Обиду учинил он не мне, не лично тому или иному из твоих бояр, а всей твоей боярской думе...

— И обиду эту, стало быть, отпустить ему надлежит уже не мне, а боярской же думе? — досказал государь, окидывая окружающих бояр вопрошающим взглядом. — Что же, бояре, как вы положите?

Те переглядывались и безмолвствовали. Тут выступил вперед и заговорил Морозов:

— Дозвольте, бояре, за всех за вас слово молвить. Буде у боярина Ильи Юрьевича имеются на неправильные якобы действия ко-

го-либо из нас явные улики, то не возбраняется ему предъявить оные установленным на то в законах порядком. В рассуждение же того, что обиду купно всем нам причинил он в пьянственном виде, в коем, судя по опозданию его на смотр и по слышанным сейчас от него неподобным речам, и ныне еще обретается, — не благоугодно ли будет думе подтвердить свое давешнее решение, дать ему смыть в искупительной купели все свои перед нами прежние и предбудущие прегрешения?

Предложение бывшего дядьки царского в такой юмористической окраске понравилось, по-видимому, если и не всем, то большинству членов боярской думы.

— В купель его, в купель! — загудели кругом одобрительные голоса.

— Слышишь, боярин? — обернулся царь к коленопреклоненному перед ним боярину. — Требуют того твои же товарищи по думе.

Илья Юрьевич одним движением приподнялся с земли, приосанился и обвел этих своих товарищей пылающим взором смертельной ненависти и презрения.

— Стыдно мне за вас, бояре, — вырвалось у

него из задыхающейся груди, — зазорно заседать с вами в единой думе! Лучше уж опала!..

— Будет, боярин! Неладны твои речи, — властно заговорил тут государь, и лазурные глаза его, потемнев, заискрились зловещим огнем. — Ты гнушаешься моей боярской думой и сам желаешь опалы? Изволь! С сего часа ты — опальный и до веку можешь пребывать в своей родовой вотчине.

Разгоряченное лицо опального покрылось мертвенной бледностью: кровь отлила у него к сердцу, и он невольно схватился рукой за грудь. Но враги не должны были считать его окончательно сраженным; он отдал государю уставный поклон и с видом собственной правоты повернулся, чтобы удалиться.

— Постой, боярин! — неожиданно прозвучал тут голос Морозова. — Всемилоостивейший государь наш по безмерной своей благодати внял твоей просьбе — уволил тебя из боярской думы, дабы ты опальным доживал век в своей вотчине. А тебе и горя мало: в Москве ты ведь все равно ни с кем не водился, а дома, в вотчине, у тебя полная чаша и родная семья. Первую жену бездетную ты в гроб во-

гнал, да нашел себе потом другую и помоложе, и попригожей, дал тебе с нею Бог и милых деток — чего ж тебе боле? Живи в свое удовольствие, катайся как сыр в масле. Так и опала тебе не в опалу...

— Ты куда, Борис Иваныч, речь свою kloнишь? — спросил царь, насупив брови. — Аль против опалы?

— Дерзнул ли бы я, государь? Решение твое об опале свято и перерешению, вестимо, уже не подлежит. Но отменено ли сим и решение бояр — омыть его в иордани от зазорной оплошки противу придворного обихода, от коей только что омылись стольники, запоздавшие на смотр?

— Отменить боярское решение во власти самих же бояр.

— Слышите, бояре? Так что же: купать его все же иль нет? Я полагал бы — купать.

— Купать! Купать! — подхватил уже единодушно целый хор голосов. — Но в купели его милости будет, пожалуй, тесно, да и невместно после простых стольников. Так не в пруд ли его?

— Да, да, в пруд!

Поднятый на воздух несколькими купальными, Илья Юрьевич, как ни барахтался, был отнесен под навес купели.

— Хорошенько раскачайте! — донесся еще вслед приказ Морозова.

И вот его раскачали, и он с размаху полетел в пруд.

Своей резкой прямою и надменною Илья Юрьевич нажил себе при дворе куда более недругов, чем друзей. От опального отвернулись теперь и последние друзья. Когда его грузное тело среди водомета брызг бултыхнуло в воду, кругом послышался злорадный смех, а один известный острослов не постеснялся поглумиться во всеуслышанье:

— Пошел пузырь на дно карасей ловить!

Когда же вслед за тем тело выплыло опять на поверхность, он еще добавил:

— Пузырь и в море-океане не потонет!

Глумление это еще более способствовало общей веселости. Но что бы это значило? Туловище боярина хотя и появилось над водою, но оставалось неподвижным; от головы же его виднелись только кончик носа да борода.

— Он никак обеспамятовал! — первым за-

беспокоился государь.

— И то, чего доброго, захлебнется, — сказал Милославский. — Я прикажу на всякий случай вытащить его на сушу. Эй, люди! Достать багров!

Не успели те, однако, еще исполнить приказание, как мимо них проскочил какой-то юркий человек и, на бегу скинув с себя однорядку, прыгнул в воду. Надо ли говорить, что то был не кто иной, как Пыхач? По своему бесправному общественному положению он, наравне с другими боярскими «знакомцами», не имел доступа в избранный круг родовой знати. Но опасение за судьбу своего безрассудного покровителя не дозволило ему остаться в отдалении от него. Подкравшись к группе придворных служителей, стоявших по другую сторону купели, он был также очевидцем описанной сейчас сцены и не замедлил броситься спасать утопающего. Минуту спустя несколько услужливых рук приняли от него из воды боярское тело и, положив на охабень, принялись его откачивать. Старания их

в том отношении увенчались успехом, что



Его раскачали, и онъ съ размаху полетѣлъ въ прудъ.

вода, которой Илья Юрьевич наглотался, хлынула у него обратно из рта. Но когда его опустили опять на землю, он остался лежать без движения с искаженным посинелым лицом и закатившимися глазами.

— Да где же наш дневальный дохтур? — спросил государь. — Чья нынче очередь?

— Очередь немчина Вассермана, государь, — доложил один из стольников. — Да вон он и сам.

Из соседнего шатра, действительно, выбе-

гал только что, утирая себе платком рот, молодой придворный лекарь-немец в сопровождении Пыхача, который ранее других подумал о врачебной помощи.

— Ты где это запропал, мейн герр? — спросил с укоризною царь. — Верно, опять за столой своего пива?

Молодой врач смутился и в извинение пролепетал что-то по-немецки про африканскую жару.

— А без тебя, смотри-ка, что тут с этим беднягой случилось, — продолжал государь. — Сколько ни качали — все втуне.

Присев на корточки перед обеспамятовавшим, Вассерман расстегнул у него на груди ферьязь и камзол и припал ухом к его сердцу. Затем ощупал у него внимательно обе руки и ноги, промычал себе под нос: «Гм!», достал из бокового кармана футлярчик, из футлярчика — ланцет и, засучив боярину правый рукав, чиркнул ему стальным острием немного выше кисти. Крови, однако, не показалось. Лекарь озабоченно помотал головой.

— *Paralysis dextra* (паралич правой стороны тела), — пробормотал он и повторил ту же

операцию с левой рукой паралитика.

На этот раз из ранки капля по капле засочилась буроватая жидкость. Но под давлением пальцев лекаря кровь потекла понемногу обильнее, пока, наконец, не брызнула ярко-красным фонтаном. Оторвав полоску от поданного ему чистого полотенца, Вассерман принялся бинтовать ранку. Тут утопленник испустил вздох и зашевелился.

— Слава Богу! — с облегчением произнес государь. — Что, Илья Юрьич, каково тебе?

Ответа не было: сознание, очевидно, еще не вернулось.

— Но он ведь оправится, останется жив? — отнесся царь вполголоса к лекарю

Тот на ломаном русском языке объяснил, что за жизнь боярина он отвечает, но что совсем ли он оправится — покажет только время: *habitus* у него *aroplecticus* (телосложение у него параличное).

— Так вот что, Вассерман: ты сам отвезешь его в родовую его деревню Талычевку... Так, кажется, зовут ее, Борис Иваныч?

— Точно так, государь, — отвечал с поклоном Морозов. — Там у себя, в семье, он всего

верней оправится.

— И я так полагаю. Только вот что, мейн либер герр, — обернулся государь опять к Вассерману, — доколе ты мне его на ноги не поставишь, пива в рот ни капли! Понимаешь: ни капли! Чего испугался? — улыбнулся он, видя, как лицо лекаря вытянулось. — Ну, так и быть, один жбан в день, не больше, меду же — сколько душа пожелает. Место при дворе остается за тобой. Вот Борис Иванович позаботится, чтобы жалованье высылалось тебе из Москвы исправно.

О снятии с Ильи Юрьевича опалы царь ни словом не обмолвился, стало быть, до времени опала оставалась еще в силе.

Глава первая НОВЫЙ ЗИГФРИД

Десятый уже год опальный боярин Илья Юрьевич Талычев-Буйносов жил безвыездно в своей Талычевке. В Москве об нем, казалось, вовсе забыли, точно его и на свете уже не было. Между тем, благодаря лекарю-немцу Вассерману, здоровьем он почти совсем поправился, парализованные нога и рука опять его слушались, только ходить он не мог уже без палки, да, наделяя провинившегося холопа пощечиной, не сворачивал уже ему скулы. Духом Илья Юрьевич, напротив, нимало не воспрянул, а находился в состоянии постоянного мрачного раздумья и глухого раздражения. Да и не диво: кроме тяготевшей еще над ним немилости царя и вызванного этой немилостью отчуждения от него помещиков-соседей, его посетило еще тяжелое семейное горе — смерть второй жены. Радужный хозяин превратился в угрюмого нелюдима. Свою соколиную охоту, составлявшую прежде его радость и гордость, он уничтожил, дозво-

лив своему старшему сокольнику Кондратычу оставить у себя одного только злополучного красавца-кречета Салтана. Своих карлика-шута и карлицу-шутиху он прогнал сперва со своих глаз, а потом променял на породистых быка и корову. Даже из трех детей своих он проявлял теперь видимое расположение только к старшему сыну, 16-летнему Юрию как к будущему представителю старинного рода Талычевых-Буйносовых; младшие дети, 14-летний Илюша и 12-летняя Зоенька, в кои веки достаивались от него нежного взгляда, ласкового слова. Что касается остальных домочадцев, то из них Илья Юрьевич общался теперь обыкновенно только с двумя: со своим неизменным приятелем-советчиком Пыхачем да с лекарем Вассерманом. Последний играл с ним по вечерам в шахматы и давал ему отчет о научных успехах его сыновей, которых взялся обучать книжной премудрости.

Чему, однако, училась дворянская молодежь на Руси допетровских времен? Вообще говоря, очень немногому. Если сын боярский знал несколько молитв, умел с грехом пополам читать да писать, то и слава Богу. Если

же он сверх того был умудрен в четырех правилах «богоотводной науки» — цифири: «аддиции», «субстракции», «мультипликации» и «дивизии», да еще свободно объяснялся на каком-нибудь иностранном языке, то мог рассчитывать на блестящую будущность.

Предоставив приходскому попу, отцу Елисею, наставлять двух боярчонков в Законе Божьем и в русской грамоте, Вассерман взял на себя уроки арифметики, географии, «мировой» истории, истории «натуральной», немецкого языка и «каллиграфии», а также и «свободных» искусств: верховой езды, стрельбы в цель и фехтования, в которых он сам, как былой «студиозус и бурш», был большой мастер. Таким образом, ученики его находились в исключительно благоприятных условиях. Впрочем, правду сказать, в «свободных» искусствах они преуспевали все-таки более, чем в науках, особенно Юрий: несмотря на разность лет, он учился тому же, что и младший брат, который был прилежнее, да, пожалуй, и способнее его к наукам. Однажды, в начале мая месяца, научный урок их пришел только что к концу. Чтобы уластить учени-

кам «горький корень» науки, Вассерман имел обыкновение преподносить им в виде десерта какой-нибудь любопытный исторический эпизод или старинное предание, разумеется, по-немецки, чтобы убить, как он выражался, «двух мух одной хлопучкой» (zwei Fliegen mit einer Klappe): «мировую» историю и немецкий язык. На этот раз выбор его пал на древнегерманское сказание о «Роговом Зигфриде». Дошел он в своем рассказе до того места, где Зигфрид, окунувшись в драконову кровь, покрылся весь непроницаемой роговой корой, — когда младший ученик, Илюша, прервал его:

— Да ведь и ты сам, Богдан Карлыч, никак тоже Зигфрид?

— При крещении мне, точно, дали два имени Siegfried-Gotthelf...

— Так почему же ты зовешься теперь только Богданом?

— Почему?.. Покойный батюшка мой, видишь ли, был врачом для бедных и в колыбели еще благословил меня идти по его стопам. Затем-то он и дал мне имя мифического победителя драконов, я должен был научным ору-

жием — лекарственными снадобьями поражать злейших врагов человечества, всякие недуги и болезни.

— А второе имя — Gotthelf — дала тебе, верно, твоя матушка?

— Да... Оно должно было служить мне талисманом от людского коварства.

— Да на что тебе еще талисман, коли ты покрыт уже роговой корой? — рассмеялся мальчик.

— То-то, что и у меня, как у Рогового Зигфрида, прилип меж лопаток липовый листок...

— Липовый листок? Я тебя что-то не пойму.

— Листок, конечно, не настоящий, а фигуральный. Листок этот — безрассудные надежды и желания, которые, как лишний балласт, давно бы мне пора выбросить за борт.

И, глубоко вздохнув, новый Зигфрид прикрыл глаза рукой.

В это самое время чуть слышно скрипнула дверь, и в нее просунулась лохматая голова молоденького парня, кивнула нашим боярчонкам и тотчас опять скрылась.

Юрий тихохонько приподнялся и вы-

скользнул за дверь. Илюша не замедлил последовать за ним, но второпях так шумно отодвинул стул, что обратил внимание учителя.

— Куда? Куда? — крикнул тот, но не получил уже ответа.

Кончался урок так не впервые. Искать шулунов, как показал опыт, было уже напрасно. Богдан Карлыч остался сидеть и погрузился в невеселую думу.

Да, этот проклятый липовый листок! С дипломом доктора философии и медицины Виттенбергского университета в кармане он, Зигфрид Вассерман, по завету покойною отца, стал было практиковать среди беднейшего населения родного городка своего Лобенштейна. Но враг силен! Однажды его позвали к заболевшему внезапно придворному истопнику владетельного князя Генриха X Лобенштейнского. Поставил он пациента на ноги так скоро и своей обходительностью расположил его так в свою пользу, что понемногу вся придворная челядь, а наконец и обер-камердинер его княжеской светлости охотнее обращались к молодому Зигфриду Вассерману, чем к брюзге лейб-медику и даже известней-

шей в городе знахарке. Не прошло и года времени, как, благодаря протекции того же оберкамердинера, его назначили сверхштатным придворным медиком. Успех ударил ему в голову. Он стал пренебрегать своими бесплатными больными, грезил уже сделать-ся лейб-медиком, когда за такое высокомерие судьба его жестоко покарала. Придворный чин московского царя, боярин Стрешнев, проездом с баденских минеральных вод в свою Москву остановился ночевать в резиденции Лобенштейнского князя. Ночью схватил его опять отчаянный приступ застарелой ломоты, от которой он лечился в Бадене. Старика лейб-медика не велено было тревожить по ночам для кого бы то ни было, кроме самого владетельного князя. И так-то к одру проезжего москвича был призван Зигфрид Вассерман. К утру у боярина все боли как рукой сняло, и он, недолго думая, предложил молодому эскулапу сопровождать его до Москвы. Зигфрид Вассерман еще колебался, потому что о Москве, как большинство его соотечественников, имел самые смутные понятия. Но Стрешнев сумел убедить его, что одних нем-

цев в резиденции московского царя было больше, чем всех жителей в Лобенштейне, а перед великой Москвой крошечное Лобенштейнское княжество исчезало, как туманное пятнышко Млечного Пути на необъятном небосклоне.

— Но здесь я все ж таки придворный медик, хоть и сверхштатный, — возражал Зигфрид Вассерман.

— А там вас сразу сделают штатным, — отвечал искунитель-москвич.

— Придворным же?

— Придворным.

— Да кто мне за это отвечает?

— Я вам отвечаю моей собственной боярской честью. Искушение было слишком велико, Зигфрид не устоял.

Месяц спустя он был уже в Москве, а еще через месяц, действительно, был зачислен в штат придворных врачей. Но на этом карьера его и запнулась.

Старшие придворные лекаря, из таких же иноземцев, оттирали юного, не в меру прыткого собрата. А тут скончался его единственный влиятельный покровитель боярин

Стрешнев. Шел год за годом, прошло целых пять лет, а Вассермана за это время всего-то раза три-четыре призывали к особе его царского величества, да и то лишь в качестве младшего ассистента.

И вдруг новый неожиданный громовой удар — повеление государя сопровождать опального боярина в деревенское захолустье и не отлучаться от него до его выздоровления. Правда, что теперь, к концу десятого года общей их опалы, здоровье боярина почти совершенно восстановилось, прежнего же Зигфрида не осталось уже и в помине. Из гордого победителя драконов он превратился в скромного домашнего учителя, из Зигфрида в Богдана Карлыча, и вместо того, чтобы совершенствоваться в своей любимой медицине, повторял со своими двумя питомцами школьные зады, переливал из пустого в порожнее, как настоящий Wassermann, календарный водолей.

— О, Siegfried, Siegfried! Wo bist du hin? (куда ты делся?) — простонал он, когда картины прошлого промелькнули теперь перед его духовным взором.

У стены стояли клавикорды... Как попал этот иностранный музыкальный инструмент в русскую глушь? Перекупил его когда-то в Москве Илья Юрьевич у одного заезжего музыканта, пленившего его своей потешной игрой. Но, доставленные в Талычевку, клавикорды под неумелыми пальцами боярина и его домочадцев издавали одни жалобные нескладные звуки. Крепко осерчал боярин на мошенника «музикуса», сбывшего ему за высокую цену негодную дрянь, и велел убрать «клевикорты» со своих глаз долой на чердак. Там впоследствии случайно углядел их Богдан Карлыч и получил разрешение поставить их к себе в горницу. Нот он также не знал, но во времена студенчества все же брэнчал по слуху. Здесь, на чужбине, такое брэнчание служило ему единственным спасением от находившей на него меланхолии.

Усевшись теперь за клавикорды, он заиграл сперва торжественный церковный хорал. Тот сменился грустным народным мотивом, а этот — игривой застольной песней. Мурлыкая ее про себя, Богдан Карлыч и не заметил, как в полуоткрытой двери появилась белоку-

рая девочка с огромным букетом полевых цветов в руке. Прослушав два куплета, она на цыпочках подкралась сзади к музыканту и так внезапно сунула ему свой букет под самый нос, что он как кот, фыркнул и расчихался. Она залилась звонким смехом.

— Ну, конечно, Зоенька! Guten Morgen, mein Herzenskind! (Здравствуй, мое серденько!) — сказал он, оборачиваясь к ней с ласковой улыбкой. — И опять цветы!

— Да, я набрала тебе свежих, эти вот у тебя со вчерашнего дня уже маленько повяли, — отвечала Зоенька, заменяя новым букетом вчерашний в стоявшей на клавикордах вазе. — А что это была за песня, Богдан Карлыч?

— Песня старая студенческая, ein altes Burschen-lied. Что она тебе понравилась?

— Та, что ты перед тем играл, мне больше по душе.

— Но та печальней.

— Вот потому-то мне и милей, покойная матушка баюкала меня всегда одной такой печальной песней. Ты, Богдан Карлыч, верно, ее слышал, про татарский полон.

— Может, и слышал, не знаю, право.

— Душевная песня! Особливо слова. Хочешь я тебе спою?

— Спой, дитя мое, спой.

И запела Зоенька стародавнюю колыбельную песенку о том, как татарове полон делили, как теща досталась зятю, а зять подарил ее своей молодой жене, русской же полонянке:

*— Ты заставь ее три дела делать:
Что и первое — то дитя качать,
А другое — тонкий кужель[2]
прясть,
Что и третье — то цыплят пасти.*

Эту речь мужа-татарина Зоенька старалась передать грубым мужским голосом, а затем, как теща, укачивающая внучонка, понизила тон до нежного шепота:

*Ты баю-баю, мое дитяtko!
Ты по баtюшке злой татарчонок,
А по матушке мил внучонок,
Ведь твоя-то мать мне родная
дочь,
Семи лет она во полон взята,
На правой руке нет мизинчика.*



Въ полуоткрытой двери появилась белокурая дѣвочка съ огромнымъ букетомъ полевыхъ цвѣтовъ въ рукѣ.



Ты баю-баю, мое дитяtko!

И, вся просветлев, как дочь, узнавшая вдруг свою мать, девочка распростерла вперед руки, точно хотела броситься матери на шею, и закончила порывисто и звонко:

*— Ах, родимая моя матушка!
Выбирай себе коня лучшего!
Мы бежим с тобой на святую
Русь,
На святую Русь, нашу родину!*

Голубые, как незабудки, глазки маленькой певицы блистали алмазами наворачнувшихся на них слез. И сентиментального немца-учителя стародавняя русская песня защемила, видно, за сердце.

— Славная песня! — сказал он. — Надо ее записать и перевести на немецкий язык.

— А потом и сам петъ ее тоже будешь?

— И сам петъ буду. А музыку сейчас подберем. Он стал подбирать.

— Постой, не так! — остановила его Зоенька и своими детскими пальчиками отыскала требуемые клавиши.

— Ага! Теперь знаю, — сказал Богдан Кар-

лыч и уже полными аккордами передал основную тему песни.

— Голубчик, Богдан Карлыч! — воззвала тут к нему девочка. — Научи и меня это играть!

— А что батюшка твой скажет?

— Ничего не скажет, он и знать-то не будет.

— Nein, mein Kind, das geht nicht! Без его апробации никак невозможно.

— Ну, так попроси батюшку, когда засядешь с ним опять за эти ваши шахматы, тогда он всего сговорчивей, добрее.

— Хорошо, нынче же попрошу.

Но ни в этот день, ни в последующие отцу Зоеньки было не до Шахматов.

Глава вторая ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ

Молодчик, таинственно вызвавший братьев Зоеньки из учительской, был всегдашний товарищ их игр и шалостей, внук старика-сокольника Кондратыча, Кирюшка. Лишившись обоих родителей еще в раннем детстве, он жил у деда на сокольничьем дворе. Там же, в особом чулане, холилась-лелеялась теперь, как уже сказано, единственная еще ловчая птица, несравненный кречет Салтан. Когда Кондратыч, бывало, выносил Салтана за речку в лес поохотиться на тетеревей, куропаток, диких уток, чтобы кречету не совсем отвыкнуть от своего "ремесла", — баловень-внук неизменно сопровождал старика. Точно так же бывал он с дедом и в так называемой "оружейной" палате боярина, помогая ему сметать пыль с хранившихся там, наравне со всякого рода оружием, разных принадлежностей соколиной охоты. Кроме них обоих да самого боярина, ни одна душа человеческая не имела туда доступа, даже боярчонки.

Точно так же было заказано им присутствовать и при вылетах Салтана, чтобы не при-страстились тоже, не дай Бог, к соколиной охоте. Но запретный плод сладок. Еще с вечера узнали они от Кирюшки, что дедко его собирается опять с Салтаном на охоту. На утреннем уроке они ждали только условного знака Кирюшки. Тут он подал им этот знак — и след их простыл.

До того места речки, где стояла лодка, по проезжей дороге было версты полторы. Молодежь же предпочитала ближайший путь через сад, хотя при этом приходилось перелезть — при помощи, впрочем, приставленных досок — довольно высокий забор. Таким образом, когда Кондратыч со своим кречетом на руке более удобной окружной дорогой доплелся до лодки, то застал уже сидящими в ней всех трех мальчиков.

— Ну, так! — проворчал старик. — Опять ты, Кирюшка, упредил барчат?

— Полно тебе брюзжать, старина! — прервал его Юрий. — Мы и то сколько времени ждем тут тебя.

— Ох, времена, времена! — вздохнул ста-

рый сокольник, садясь к рулю, тогда как внук его взялся за весло и оттолкнулся от берега.

— Да чего ты охаешь? — продолжал Юрий. — Не другим, так нам хоть дашь полюбоваться на своего Салтана.

— Да я не об том! Нешто мне жалко? Я не об том!

— Так о чем же? Иль у тебя горе какое?

— Что наше холопское горе! Нам, талычевцам, на свою долю жаловаться — Бога гневить. Мы — люди серые, рабами родились, рабами и помрем. Об вас, касатики, сокрушаюсь...

— Об нас-то зачем?

— Затем, что без ножа вам голову сняли. Только слава одна, что боярские дети. Родитель опальный — и детки опальные. Не в деревне бы вам тут киснуть, небо коптить, а в Белокаменной состоять при государыне-царице, а потом в комнатных людях и при самом государе.

— В каких таких комнатных людях? — спросил Илюша.

— Неужели ты не слышал про "комнатных", или "ближних", людей? — заметил бра-

ту Юрий. — Это — спальники и стольники: спальники раздевают, разувают государя в опочивальне, а стольники прислуживают ему за столом.

— Опосля же жалуются в рынды, в окольничие, в бояре! — досказал Кондратыч. — Да вот не задалось! Связала вам судьба-мачеха резвые крылышки...

— Ну, мы и сами себе их развяжем, взлетим не хуже твоего Салтана!

— И сокол выше солнца не летает. Аль не веришь? — отнесся старик-сокольник любовно к своему кречету, который, сидя у него на правой рукавице, в пунцовом бархатном "клобучке", в суконных "ногавках" (чулочках) и с серебряным колокольчиком в хвосте, гордо поводил кругом своими блестящими желтыми глазами. — Свет ты очей моих! Золотая головушка!

— Сам ведь точно понимает, что безмерно хорош! — восхитился и Юрий.

— Эх-ма! — вздохнул опять Кондратыч. — Кабы и тебя, соколик мой, еще разрядить в сокольничий убор да на руку дать тебе Салтана, за одно погляденье рубля бы не жаль!

— А что же, дедко, за чем дело стало? — вмешался в разговор Кирюшка. — У нас в оружейной палате есть совсем новенький сокольничий убор, и как раз, я чай, ему впору.

— Нишкни, баламут! Страху на тебя нет.

— И сами ужо добудем, — вполголоса заметил Кирюшка Юрию.

— Что? Что ты там опять намыслил, непутный? — вслушался дед. — Повтори-ка!

— Глухим двух обеден не служат.

— Ай, зубоскал! Смотри ты у меня: десятка два как засыплю...

Кирюшка в ответ только свистнул: давно уже перестал он верить угрозам добряка-деда.

Извилистая речка только что огибала выдающийся мысок. Тут из-за мыска раздалось отчаянное кряканье, и дикая утка с целым выводком утят шарахнулась с шумным плеском к берегу, заросшему осокой.

— Пусти Салтана, Кондратыч, пусти! — закричал Юрий.

Сам Салтан хищно встрепенулся и готов был сорваться со шнурка, на котором сдерживал его старый сокольник. Но последний неодобрительно покачал головой.

— Что ты, родной! Статочное ли дело — у малых деток убивать их мать-кормилицу! Вот постой, как попадется нам селезень али бодяга-цапля...

Точно по заказу, вспугнутая шумом весел и человеческими голосами, шагах в тридцати от лодки поднялась из прибрежных камышей цапля и с пронзительным криком понеслась низко над водой. Но спущенный сокольником со шнурка кричат, звеня своим серебряным колокольчиком, стрелой помчался уже за ней. Вот он ее нагоняет. Нанести длинноногой птице верный удар сзади, однако, нет возможности. И кричат прибегает к уловке: подбившись под цаплю, он заставляет ее волей-неволей взвиться выше. Она летит уже над лесом, а он обгоняет ее, взмывая вверх еще быстрее, и вдруг, свернувшись в комок, падает на нее стремглав, вцепляется в несчастную когтями и увлекает ее с собой вниз; оба скрываются за верхушками лесной чащи!

— Он ее растерзает! — завопил Илюша вне себя.

— На то он и ловчая птица, — отозвался

Кондратыч. — А как он с ней расправится, сейчас увидим.

Говоря так, старик направил лодку к берегу, и все четверо поспешили к месту последней борьбы двух пернатых. Звяканье колокольчика и жалобные крики цапли безошибочно указывали им направление.

Среди кустарника в густой траве билась в предсмертных содроганиях цапля. На груди же ее сидел победоносно кречет и своим крючковатым клювом рвал ей с остервенением горло. При приближении людей, он окинул их злобным взглядом: "Чего, дескать, вам надо? Не мешайте!", после чего еще ожесточеннее затеребил бедную жертву, брызгая кругом кровью.

— Это ужасно! Отними же ее у него, Кондратыч, пожалуйста, отними! — умолял Илюша, отворачиваясь, чтобы только не видеть возмутительной картины.

Менее чувствительный Юрий не спускал глаз с Салтана, хотя в душе и его коробило; Кирюшка же, видимо, упивался кровожадностью кречета и удержал деда за рукав, когда тот протянул уже руку к Салтану.

— Нет, дедко, не трогай, он взял ее с бою.

— Правильно, — согласился старик, — он честно себе ее заработал.

— Честно, как разбойник! — воскликнул Илюша.

— Да разбойник разве не тот же вольный сокол? — возразил Кирюшка. — И я тоже, коли раз жить тут с вами наскучит, возьму дубину и пойду на большую дорогу.

— Ах ты, такой-сякой! — напустился на него дед. — Христа в тебе нет! Да лучше я сам из тебя дубиной душу вышибу!

— Ну, полно, старина! — вступился Юрий. — Не видишь разве, что он смеется? А вот что скажи-ка, будешь ты еще нынче иль нет охотиться с Салтаном?

— Буду ль, не буду ль, вам-то, ребятам, глядеть уже нечего, вдосталь на "разбойника" нагляделись.

— Да ведь до птичьей потехи и батюшка наш прежде охоч был, и сам государь, слышь, написал об ней целую книжку "Сокольниковый Урядник".

— Ну, и ступай, и почитай ту книжку, куда больше ума-разума наберешься, чем от меня с

Салтаном.

— Да разве она есть у нас в доме?

— Как не быть, чтобы у боярина нашего ее да не было!

— Но где же она у него? Не в оружейной же палате?

— Там-то вряд ли, книжек там никаких нету, — заметил Кирюшка. — Разве вот в книгохранилище, что в молельне.

— Наверное, что так! Сейчас пойдем туда и разыщем.

— Что ты, миленький! Без спросу? — возразил Кондратыч.

— Да ведь мы ее потом опять на место поставим. Гайда!

— А с лодкой-то как же? С Кирюшкой мне, что ли, назад пришлете?

— Да, хоть с Кирюшкой.

Переpravясь обратно через речку, наши ветреники, однако, так и забыли уже про свое обещание старику, перелезли один за другим через забор в сад и боковой дорожкой незаметно добрались до дому.

Здесь будет кстати сказать пару слов о самой талычевской усадьбе.

Вся усадебная площадь, версты три в окружности, была обнесена кругом сплошным бревенчатым забором. Единственным в нем входом служили дубовые ворота с башенкой и с такой же иконой св. Георгия Победоносца, как и на воротах талычевских палат в Москве. Кроме главного господского дома с людскими избами, с большим плодовым садом и огородами, на усадебной площади были расположены всевозможные хозяйственные постройки: поварня, медоварня, винокурня, конюшня с кузницей и дворы скотный, птичий и сокольничий. Господский дом состоял, собственно говоря, из нескольких строений в три, в два и в одно жилье, возведенных в разное время, но соединенных между собой крытыми переходами. Срединное здание, в три жилья, с вышкой, имело крыльцо на столбиках и с прорезными перилами, а на наружных стенах здания и на ставнях окон были намалеваны доморощенным художником — нельзя сказать, чтобы очень уж искусно — разные звери, птицы и растения. К тому же некогда яркие краски успели значительно выцвести и кое-где облупиться. Тем не менее,

благодаря именно этой своеобразной живописи, здание выделялось довольно выгодно среди окружающих некрашенных строений и составляло немалую гордость всех талычевцев.

Наши мальчики, не желая быть замеченными, из садовой калитки не направились, конечно, к главному крыльцу, а шмыгнули в одно из боковых крылец, откуда рядом переходов пробрались затем и в молельню.

Молельня, иначе "крестовая палата", была настолько обширна, что в ней в особых случаях совершались общие молебствия и для всех домочадцев. Обыкновенно же она служила только для утренних и вечерних молитв самому боярину.

В глубине молельни виднелся иконостас, задернутый по железному пруту зеленой шелковой пеленой с вышитым на ней золотым крестом. Когда при общих молебствиях пелена эта отдергивалась, то в верхнем поясе иконостаса являлись, по бокам Животворящего Креста, вделанные в стену два больших, старинного письма образа Богоматери и Апостола Иоанна Богослова, в нижнем же поя-

се — изображения двенадцати Страстей Христовых.

С середины сводчатого потолка, расписанного в виде исходящих из центра золотых лучей, спускалась длинная рука, держащая золоченую деревянную люстру. На люстре было двенадцать подсвечников, и под каждым подсвечником было подвешено по деревянной птичке с распростертыми крылышками, так что при всяком движении воздуха эти птички порхали точно живые.

Когда-то, даже во время торжественного богослужения, порхающие птички не в меру развлекали маленьких боярчонков.

Теперь оба они без оглядки подошли к "книгохранилищу" — "вальящетоу" (резному), орехового дерева поставцу. Боярину и в голову не могло прийти, что кто-либо осмелится без его разрешения заглянуть в поставец, а потому ключ не был вынут из замка. При всем своем легкомыслии, Юрий не без тайного трепета повернул ключ в замке.

В поставце оказалось три полки. На двух верхних были размешены в строгом порядке книги печатные и писанные в переплетах из

свиной кожи, на нижней лежали аккуратными же пачками рукописи in folio и пергаментные свитки.

— Начнем подряд, — сказал Юрий, принимаясь за книги на верхней полке. — Да это никак все книги духовные...

Действительно, для человека, интересующегося вопросами религии, выбор был здесь довольно разнообразный: рядом с "Евангелием на престольным", "Псалтирью", "Акафистами Богородичными" можно было найти и книги не богослужебные: "Житие Чудотворца Николая", "О Антихристе и о иных изрядных вещах", даже "Алкоран Махметов" в переводе с польского.

— Постой, Юрий, не тут ли? — сказал Илюша, обращаясь ко второй полке, и начал читать заглавные листы: — "Книга о ратном строе...", "Право, или Уставы воинские Галанской земли...", "Конский лечебник...", "Сокольничий Урядник". Вот он, значит, и есть!

— Покажи-ка сюда! — сказал Юрий и, выхватив у него книгу из рук, принялся ее перелистывать.

— Да дай же и мне взглянуть немножеч-

ко! — попросил наконец Илюша, глядевший ему через плечо.

— Нет, уж лучше я тебе что-нибудь прочитаю. Ну вот, слушай:

"И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным и веселить сия птичья добыча. Безмерно славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига[3] кречатья добыча. Красносмотрителен же и радостен высокова сокола лет. Премудра же челига соколя добыча и лет. Добровидна же и копцова добыча и лет. По сих доброутешна и приветлива правленных ястребов и челигов ястребьих ловля, к водам рыщение, ко птицам же доступание... Будете охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие".

— Ведь вот как тут расписана птичья потеха! — прервал свое чтение Юрий. — Точно воочию видишь перед собой всех этих кречетов и соколов, ястребов и копчиков...

— Только не самих сокольников, — доскажал Илюша. — Хоть бы одного-то сокольника

раз увидеть во всем его уборе!

Юрию вспомнилось давешнее предложение Кирюшки, и он усмехнулся.

— А хочешь, я сейчас покажу тебе такого сокольника?

— Откуда ж ты возьмешь его?

— А вот в оружейной палате.

Дверь туда из молельни была всегда замкнута, ключ же от нее висел рядом на стене. Теперь ключ торчал уже в замке, а сама дверь была полуотворена.

— Э! Да Кирюшка никак уже там. Кирюшка! Ты там, что ли?

— Здесь! — откликнулся из-за двери Кирюшка. — Милости прошу к моему шалашу.

И без такого приглашения два брата-шалуна не утерпели бы уже заглянуть в заповедную для них палату.



Глава третья САМОЗВАННЫЙ СОКОЛЬНИК

Талычевская оружейная палата по своим размерам была немногим меньше молельни, по разнообразию же скопленных в ней воинских доспехов сделала бы честь иному арсеналу. Одна стена была увешана в виде затейливого узора огнестрельным и холодным оружием того времени: фузеями, мушкетами и пистолями, саблями, палашами и кинжалами; другую стену украшали сверкающие сталью, серебром и золотом древнерусские копья, луки, колчаны, обухи, топорки, рогатины, бердыши, мечи, брони, шапки ерихонские...

С такой-то шапкой-ерихонкой на голове, с броней-бехтерцем на груди, с мечом в правой руке, с бердышем на левом плече Кирюшка вышел теперь навстречу входящим боярчонкам и отвесил им поясной поклон.

— Здравия желаем, господа честные! Добро пожаловать!

— Ах ты, шут гороховый! — рассмеялся Юрий. — А где же тут сокольничьи снаряды?

— Да вот, в пролете.

В глубине указанного пролета, действительно, виднелись развешанные по стене принадлежности соколиной охоты и насаженные на подставках чучела разных ловчих птиц.

— Чучела эти набил сам дедко, — объяснил не без гордости Кирюшка. — А вот и убор сокольничий.

— Подай-ка его сюда.

Натянув на плечи поданный ему Кирюшкой сокольничий кафтан, а на ноги сафьяновые сапоги, Юрий подвязался струйчатым поясом, насадил набекрень горностаевую шапку, перекинул через плечо бархатную сумочку с вышитой на ней золотом вещей райской птицей "гамаюн", а на руки надел рукавицы с "притчами в лицах", т. е. с изображением тех наказаний, которым подвергается сокольник за нерадивое исполнение своего долга.

— Теперь достань-ка еще трубу.

— Не дудку ли? — подтрунил над ним Кирюшка, снимая с гвоздя серебряный охотни-

чий рог.

— Ну, рог, что ли! А это еще что?

— Это тулумбаз и воцага, — с важностью знатока объяснил внук старика-сокольника, подавая ему небольшой бубен и плетку. — Тулумбаз подвешивают к седлу, а воцагой бьют по тулумбазу, чтобы вспугнуть дичь для сокола.

— А где же конь мой? — усмехнулся Юрий. — На тебя самого верхом сесть?

— Нет, я — воин, и конем быть мне не пристало. Вот кабы ты потрубил в рог да поиграл на тулумбазе, так я показал бы тебе разные воинские "артикулы".

— Да сам-то ты откуда их знаешь?

— А видел их летось в городе, когда ездил туда с дедкой.

— Ну, так вот что: я буду трубить, Илюша поиграет на тулумбазе, а ты выделывай какие знаешь штуки.

И вот палата огласилась нестройными звуками охотничьего рога и бубна, звучавшего, впрочем, под ударами плетки скорее вроде барабана; Кирюшка же важно зашагал назад и вперед, выделывая мечом и бердышом свои

воинские штуки.

Так ни один из них не заметил, как на пороге молельни выросла грозная фигура боярина Ильи Юрьевича. Только когда грянул его громовой голос: "Что за содом такой!", все трое разом оглянулись. Сумрачное лицо боярина горело огнем, а тучное тело так и колыхалось от едва сдерживаемого гнева. Совершенный контраст представляла выглядывавшая сзади рожица боярского приятеля Пыхача с расплывшейся лукавой улыбкой: присяжного потешника, видимо, забавляло замешательство трех проказников, застигнутых врасплох.

Юрий и Илюша так и застыли на месте. Кирюшка же, уронив с перепугу на пол бердыш и меч, заметался по палате, как угорелый, и вдруг исчез в углублении стены, где хранились принадлежности охоты.

— Куда? Куда? — закричал боярин, стуча тростью по полу. — Назад!

Но притаившийся за пролетом парень счел за лучшее не подавать пока и голоса.

— Знает кошка, чье мясо съела! — заметил Пыхач, протискиваясь вперед.

— Пропусти-ка меня к нему, батя.

— Да мне бы только броню снять... — откликнулся тут плаксиво Кирюшка.

— Заговаривай, брат, зубы!

И, отыскав его за пролетом, Пыхач вытащил его оттуда за шиворот.

— Ползи, червяк, и бей челом!

Пополз "червяк" на коленях к боярину и стукнулся лбом об пол.

— Прости меня, о сударь боярин! Стоит ли тебе о всякого червяка марать твою боярскую трость?

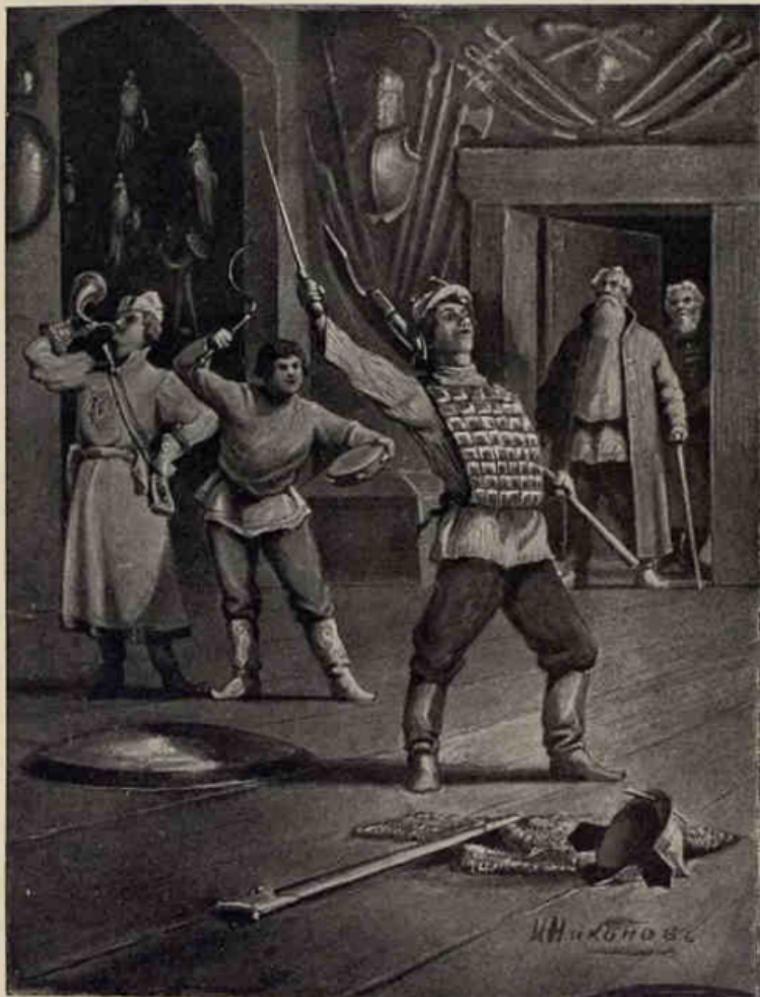
Илье Юрьевичу, в самом деле, как будто не хотелось осквернять трость, и он с гадливостью пнул только сапогом в голову кающегося грешника.

— Пошел вон!

Тот не дал повторить себе приказа и юркнул в дверь.

— А ты, Спиридоныч, — продолжал Илья Юрьевич, — ступай-ка, скажи Кондратычу, чтобы хорошенько проучил внука батожьем.

— Не премину, батя, не премину. Сам же ты тут своеручно сейчас учить своих юнцов будешь? Дело хорошее, хорошее дело. Ну-ка,



На пороге выросла грозная фигура боярина Ильи Юрьевича.



малые, изготовьтесь!

— Будет тебе язык чесать! — буркнул на шутника боярин. — Уходи!

— Без свидетелей, знамо, повадней. Только трость-то свою все лучше в угол поставь, неравно либо ее, либо их повредишь. Три раза прости — в четвертый прихворости.

— Ладно, старый болтун, говорят тебе! Терпение патрона, очевидно, готово было лопнуть.

Мигнув украдкой мальчикам, чтобы не падали духом, Пыхач также выскользнул вон.

Притворив за ним дверь, Илья Юрьевич обратился теперь к сыновьям.

— Подойдите-ка оба ближе.

Илюша подошел первым, Юрий сделал два шага и остановился.

— А ты-то что же? — спросил его отец, постукивая палкой, но, вспомнив вдруг, видно, совет Пыхача, отставил в сторону палку и вместо нее взял плетку из рук младшего сына. — Подойди, слышишь?

Меняясь в лице и кусая губы, Юрий стоял как вкопанный. Илья Юрьевич сам шагнул к нему и щелкнул по воздуху плеткой. Но тут

совсем неожиданно удержал его Илюша.

— Не бей его, батюшка! Ведь после тебя он — старший в роде, будущий боярин...

Рука с плеткой опустилась, боярин-отец оглядел с головы до ног "будущего боярина", своего первенца, стоявшего перед ним неподвижно с опущенными глазами. Не по летам высокий, статный, с выразительным юношеским лицом, пылающим теперь от душевного волнения, Юрий в нарядном сокольничьем уборе был так хорош, что родительское сердце невольно смягчилось. Но обнаружить перед сыновьями такую слабость не приходилось, и Илья Юрьевич по-прежнему сурово отнесся теперь к младшему сыну.

— Ты-то что, молокосос? Твоя очередь еще впереди.

— Знаю, и рад вынести наказание и за себя, и за него.

— Заодно уж?

— Заодно. Для Юрия я на все готов.

— Ишь ты какой! — промолвил отец, и по сумрачным чертам его промелькнул как бы солнечный луч. — Ну, что же, коли так, то покажи спину.

По спине Илюши все-таки пробежали мурашки. Но он крепко стиснул зубы и повернулся спиной, решившись ни пикнуть.

Плетка свистнула снова, но спины мальчика коснулась только слегка, другого удара уже не последовало.

— Бог тебя простит! — сказал Илья Юрьевич. — На вот, поцелуй плетку, чтобы больше тебя не трогала, а потом повесь на место.

Илюша принял плетку, но вместо нее прижал к губам отцовскую руку.

— Ну, ну, хорошо... — проворчал боярин, не привыкший к таким нежностям, и провел рукой против шерсти по густой гриве мальчика. — Пора бы тебе опять постричься... А ты чего ждешь, "будущий боярин"? — обратился он полустрого-полушутливо к старшему сыну, стоявшему еще тут же в своем сокольничьем наряде. — Коли быть тебе раз боярином, то сокольником уже не быть. Изволь-ка сейчас переодеться, и впредь сюда ни ногой!

Глава четвертая ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УКАЗ

В старину и господа на Руси, подобно простонародью, принаравливали свой образ жизни к природе, ложились спать вскоре по закате солнца, вставали чуть свет и к полудню — общему обеденному часу — набирались уже такого аппетита, что наедались, как говорится, до отвала, после чего, естественно, требовались им часа два полной отдыха, чтобы не в меру нагруженный желудок мог переварить все съеденное.

Зато насчет самой пищи и ее сервировки наши предки отнюдь не были привередливы. Похлебки, правда, кроме иноземного бульона, были те же: щи крапивные и ленивые, лапша, уха, солянка, ботвинья и разные прочие, но они не разливались по "тарелям", а подавались в нескольких мисках, по одной на двух, на трех человек. Только перед самым хозяином ставилась отдельная миска. Мясо и рыба, жареные или вареные, разрезались дворцом на тонкие куски и появлялись на сто-

ле без всяких соусов, приправ и прикрас французской кухни, а так как вилок тогда еще не было у нас в общем употреблении, то каждый брал с блюда и мясное и рыбное руками, кости и объедки бросал на свою "тарель", а руки обтирал в собственный платок или в поданное прислуживавшими холопами полотенце. Следовавшие затем сладкие яства состояли из оладьев, облитых жидким медом, из пшеничных калачей с медовыми сотами, из разных фруктовых и ягодных взваров, из кутьи и пастилы. Все это запивалось брагой, пивом, медом, домашними наливками и квасом. Виноградные вина, как редкий "заморский" товар, подавались только при особых случаях, а простое отечественное "зеленое вино" употреблялось больше при закусках.

Те же порядки соблюдались и в Талычевке, с той лишь разницей, что сам Илья Юрьевич не признавал уже никаких иных напитков, кроме грушевого и малинового кваса.

После бурной сцены в оружейной палате, весть о которой, благодаря болтливости Пыхача, быстро облетела весь дом, обед в боярской столовой начался необычайно тихо. Бо-

ярин молча принялся за поданную ему отдельную мису с ботвиньей — его любимой летней похлебкой, и все сидевшие кругом: боярчонки, их учитель и приживальцы-дармоеды обоего пола — хранили такое же молчание, прерывая ее только стуком ложек о край мисок и смачным чавканьем.

Бесцеремоннее всех чавкал Пыхач, сопя носом и вздыхая, как от тяжелого труда. Сидел он по правую руку хозяина, который не раз уже неодобрительно косился на обжору, пока, наконец, не промолвил:

— Емелька-дурак в лес по дрова поехал!

— И муха не без брюха, — промычал тот в ответ с полным ртом.

Кругом раздались сдержанные смешки. Вдруг, откуда ни возьмись, аэролитом из небесных пространств, в мису Пыхача упал кусок хлеба, и в лицо ему брызнул целый фонтан ботвиньи.

— Ловко, — сказал он, сообразив, видно, кому он этим обязан. — Всякое деяние благо.

И, преспокойно, как ни в чем не бывало, обтерев себе платком лицо, он выудил ложкой хлеб из мисы, а затем стал уплетать его за

обе щеки. Такая невозмутимость возбудила между остальными приживальцами еще большую веселость. На беду несколько брызг долетело и до их кормильца-боярина. Просветлевшее было чело его снова омрачилось.

— Кто это бросил? — спросил он, строго озираясь на своих двух сыновей.

— Я, батюшка, — ответил Илюша, пока брат его собирался еще с ответом.

— Ты, тихоня? Пошел же вон!

— Нет, бросил я, — подал тут голос Юрий, приподнимаясь с места.

— Значит, он солгал!

— Не солгал, батюшка, а хотел только выгородить меня.

— Так пошли вон оба!

— Дай им хоть ботвинью-то доесть! Больно уж вкусна, — вступился теперь Пыхач. — Молодой квас — и тот играет. Сам ты, бывало, не так еще бурлил.

— Что-о-о-о?!

Это был уже громовой раскат, предвестник надвигавшейся грозы. Все за столом притихли в ожидании, что вот-вот ударит и молния. Тут внимание боярина было отвлечено кон-

ским топотом за окном.

— Кого там еще нелегкая несет? Один из холопей кинулся к окошку.

— Ну, что же?

— Да какой-то верховой. Эй, ты, слушай! От кого прислан и с чем?

— От воеводы, с государевым указом, — донесся явственный отклик.

Илья Юрьевич весь встрепенулся и осенил себя крестом.

— Благодарения и хвала Создателю во святой Троице! Этого указа я ждал ровно десять лет, что не видел царских пресветлых очей. Сердце-вещун говорило мне, что я все же не совсем еще забыт. Ну, детушки, скоро-скоро мы будем в Белокаменной...

— И я тоже! — заликовал Пыхач и захлопал, как ребенок, в ладоши.

— И ты тоже, Емелька-дурак, само собой, на печи туда поедешь. Да где же гонец? Пускай войдет!

И вошел гонец... Да юнец ли это, полно? На плечах — самого грубого сукна полинялый воинский кафтан, в руках — затасканный воинский же колпак с медным репьем на остро-

конечной тулье, на боку — сабля не сабля, а несуразный какой-то короткий меч... Да и рожка совсем неподобающая: одутловатая, очевидно, от неумеренного употребления горячительных напитков.

— Да это простой ярыжка! — заметил Пыхач и свистнул.

— Не простой, а разбойного приказа! — отозвался осиплым голосом обиженный в своем полицейском достоинстве ярыжка, утирая рукавом свой потный лоб.

— Разбойного приказа? — переспросил Илья Юрьевич, которого также стало брать уже сомнение относительно миссии гонца. — И тебе доверили государев указ?

— А то кому же, коли велено тем указом оповестить всех и каждого, что бежал с пути следования лихой человек...

Разочарование для опального боярина было чересчур сильно. В глазах у него помутилось, он запрокинулся назад и свалился бы, пожалуй, со стула, не подхвати его в объятья Пыхач.

— Воды! — крикнул Богдан Карлыч, вскакивая из-за стола. — А ты, голубчик Илюша,

сбегай-ка наверх за моим ланцетом. Ты знаешь ведь, где он? В моем шкапчике...

— Знаю, знаю.

Но на этот раз обошлось и без кровопускания. От вылитой ему на голову кружки воды и от глотка квасу Илья Юрьевич пришел понемногу опять в себя.

— Где ж у тебя указ? — спросил он ярыжку, глубоко переводя дух. Только глухой звук голоса выдавал еще перенесенное им сейчас тяжелое испытание.

Ярыжка достал из-за пазухи завязанный бечевкой сверток, распутал бечевку и хотел только что подойти, чтобы вручить сверток лично боярину, но тот остановил его мановением руки.

— Прими, Спиридоныч!

Пыхач принял и развернул из свертка пергаментный столбец.

— Ну, что?

— Да грамота, кажись, как быть полагается с малой государственной печатью из красного воску на шнурке.

— Прочитай же во всеуслышанье.

— Гм... Глаза-то у меня в последнее время

что-то плохо видеть стали...

— Аль, может, и читать уже разучился? Ну-ка, Юрий, ты — грамотный, прочитай-ка.

Юрий взял указ из рук Пыхача и прочитал вслух следующее:

— "7177 году[4] апреля в 10-й день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, указал всем воеводам, товарищам их, дьяка и иных чинов людям, коим о том ведать надлежит: по пути следования из престольного города Москвы на железном канате осужденных в Сибирь воров и разбойников, разбив канат и кандалы ножные, утек от приставников приспешник разбойничьего атамана Стеньки Разина, по имени Осип Дементьев, а по прозвищу Шмель, с четырьмя товарищами. А оные товарищи по малом розыске переловлены, реченый же Осип Шмель доселе не разыскан, понеже уповательно возвратился на прежние свои злодейства с вящим устремлением к погублению бедных помещан и рыболовных ватаг. А приметы его: рост выше среднего, плечи широкие, волосы на голове черные, острижены по-казацки, ли-

цо смуглое, с красным рубцом от левого уха через всю щеку, левая рука без мизинца, от роду же ему годов 35. Вследствие чего вменяется каждому к сыску и поиску одного беглого разбойника все удобовозможное и неусыпное старание приложить, а по поимке в железа сковать и в подлежащий воеводский разбойный приказ беспромедлительно представить под крепким присмотром, дабы в дороге утечки учинить не мог, под опасением лишения виновных чести и наказания по всей строгости законов".

— По всей строгости законов! — повторил ярыжка заключительные слова указа с таким самодовольством, словно он сам сочинил указ.

Илья Юрьевич, в мрачной задумчивости выслушавший чтение до конца, покорно преклонил теперь голову.

— Воля государева для меня священна!

— А отписки от тебя воеводе нешто никакой не будет?

— И на словах доложишь.

— Да он мне, поди, еще в шею накладет...

— Доложи, что каждое слово государева

указа я твердо памятую и исполнить оный за святой долг полагаю. Всем людям моим будет строжайше наказано неупустительно выслеживать того беглого злодея. Понял?

— Понять-то как не понять... — отвечал ярыжка, поскребывая всей пятерней затылок.

— Ну, и проваливай.

— Эх, Илья Юрьич! — заметил тут Пыхач. — Не видишь, что ли, что у божьего человека слюна бежит, на твое боярское брашно гляючи; облизывается, как теленок, коему на морду соли посыпали. Ужель ты его, великого гонца, так, не солоно хлебавши, и отпустишь?

— Оно точно... — подтвердил ярыжка, причмокнув. — Скакал с указом, могу сказать, без передышки, язык на плече.

Илья Юрьевич махнул рукой.

— Ступай в людскую там тебя покормят...

— И напоят! — досказал Пыхач. — Без поливки и капуста сохнет. Потребуй себе добрый оловянный старей браги...

— И кружку зелена вина, — великодушно добавил от себя Илья Юрьевич.

— Вот на этом сугубое спасибо! — восклик-

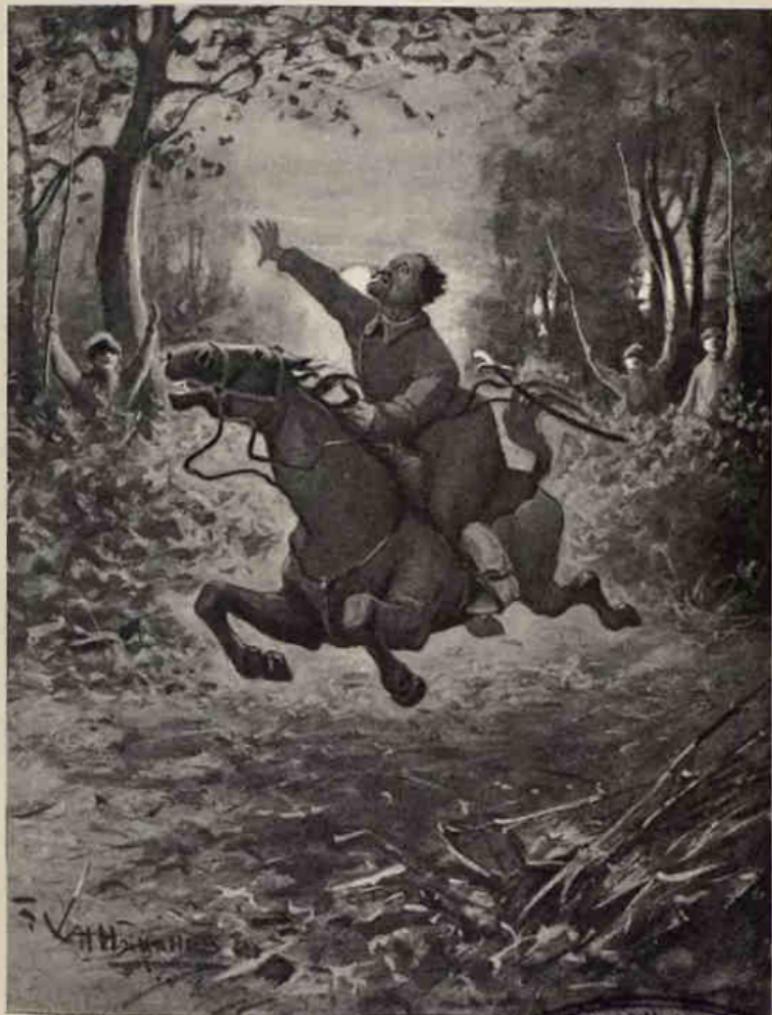
нул ярыжка и, отвесив тароватому боярину и ей приятелю по поклону в пояс, поспешил обратиться в людскую, чтобы милостивое разрешение, чего доброго, как-нибудь еще не отменили.

Что оно не было отменено, а, напротив, использовано в полной мере, можно было судить уже по тому, что выехал гонец из ворот усадьбы только под вечер, притом сильно покачиваясь в седле и заплетающимся языком распевая:

*Как у нашего соседа
Весела была беседа...*

Слышалась эта застольная песня еще долго-долго, пока не замерла, наконец, вдали за перелеском. И здесь она не оборвалась бы, если бы из-за деревьев не раздались внезапно подозрительные свистки. Ярыжка схватился за свой ржавый меч и храбро огляделся по сторонам. Как вдруг из чащи справа да слева выскочили какие-то неведомые молодцы с дрекольями, мушкетами и рявкнули хором:

— Попался, вражий сын! Тащи его с лошади! Вдобавок огрели его еще пребольно по



— Попался, вражий сынъ! Тащи еше съ собою!



спине. По счастью, хлесткий улар угодил и по крупу лошадки. Как взмахнет она хвостом, как взовьется на воздух со всех четырех ног!.. Ярыжка чуть-чуть не слетел, не хлопнулся оземь, да вовремя еще уцепился за гриву. И помчала его сивка-бурка, вещая каурка вихрем; у всадника даже дух захватило, воинский колпак с затылка снесло. А вслед ему гоготал тот же ужасный хор:

— Го-го-го! Держи его, держи!

У страха глаза велики. Захмелевший ярыжка разбойного приказа принял нападавших, очевидно, за разбойников, которые ему мерещились везде и всюду даже в трезвом виде. Не слышал он уже, как наши три проказника разразились звонким хохотом.

Возвращаясь с удочками на плече с речки, где наловили сперва мелкой приманки, а затем насадили ее на жерлицы для щук, они не утерпели подшутить над ехавшим им навстречу пьянчугой. Не чаяли они, что их ребяческая выходка будет иметь самые роковые для них последствия.

Глава пятая

РЫБОЛОВЫ

Только что обутрело и занялась заря, как наши юные рыболовы были опять на речке: неравно какая-нибудь зубастая щука перегрызет еще проволоку! Кстати были взяты с собой и обыкновенные удочки, так как на заре всякая рыба, как известно, клюет всего шибче.

Вот они уже в лодке и, отчалив, плывут вниз по течению к тому месту, где расставлены жерлицы. Но Илюша — страстный рыболов, развернув лесу, он насаживает на крючок жирного дождевого червяка, Кирюшка еще с вечера накопал их на огороде полную жестянку.

В былые времена на Руси лесов было куда больше, чем теперь, реки и речки были в той же степени многоводнее, и рыба всякого рода в них, можно сказать, кишмя кишела. Лишь только Илюша закинул удочку, как поплавок у него запрыгал, и вся зеркальная поверхность кругом так и зарябила, засеребрилась.

— И охота же тебе ловить всякую мелюзгу! — презрительно заметил Юрий. — Вот ужо как заберемся в нашу заводь, где крупнейшие окуни, лини, язи...

— Да ведь я и не ловлю теперь для кухни, — ответил Илюша. — Рыбка играет, ну, и я играю. А! Что, попалась?

Леса его взвилась над водой, и в воздухе засверкала крошечная серебряная плотичка.

— Ведь совсем малюсенькая, а туда же! Тише, не вертись, дурашка, тебе же ведь больше.

И, сняв рыбку с крючка, он пустил ее обратно в речку.

— Гуляй себе, но вперед, смотри, не попадайся! А знаете ли, братцы, у меня сердце так и стучит: вытащу ли я сегодня хоть одну-то щучку?

— Ну, тебе я и вытаскивать не дам, — объявил решительно Юрий.

— Отчего?

— Оттого, что, как в последний раз, упустишь, пожалуй, самую крупную штуку.

— Не упусти, право, не упусти! Ну, пожалуйста, Юрик, миленький! Ведь жерлиц на

всех нас хватит, первая пусть будет твоя, вторая — моя...

— А третья — моя! — подхватил Кирюшка. — Никому не обидно.

— Будь по-вашему, — нехотя согласился Юрий. — А вот и первая. Ага! Есть.

Под навесом прибрежных ив среди зеленоющей осоки торчала из воды воткнутая в илистый грунт сухая палка с двумя вилкообразными сучками. Намотанная на вилки с вечера, тонкая, но крепкая веревка, действительно, вся размоталась и была натянута, как струна. Когда Кирюшка привычным ударом весла подогнал лодку к самой жерлице, Юрий наклонился через борт и овладел веревкой.

— Эге-ге, какая силища! Да нет, сударыня, меня не перетянешь.

То привлекая к себе веревку, то опять ее распуская, он "водил", как на поводу, свою жертву, пока та не выбилась из сил. Тогда он начал, не спеша, забирать веревку в лодку.

Рыба снова вдруг заметалась, задергала в последнем порыве отчаянья. Но судьба ее была решена. Наш опытный рыболов не считал уже нужным долее с ней церемониться, и,

как только голова ее замелькала под поверхностью воды, он одним махом вытащил беденькую из ее родной стихии и — в лодку.

— Ай да щука! — расхохотался Кирюшка. — Порося, поросся, превратись в карася!

Попавшаяся на жерлицу рыба, в самом деле, оказалась не щучкой, да и не карасем, а большущим, фунта в три, окунем. Трепля за собой веревку, окунь запрыгал в лодке, как мяч, но Юрий сразу схватил его за жабры.

— Ну, что ж, окунь еще вкуснее, — говорил он, не показывая вида, что несколько разочарован. — Ишь, жадный какой, чуть не всю проволоку проглотил.

Пока он снимал окуня с жерлицы, Илюша наполнил ведро водой. Но окуни удивительно живучи. Несмотря на нешуточное повреждение внутренних частей двойным крючком, окунь и в ведре не утомился, тотчас выпрыгнул бы оттуда, не накрой Кирюшка ведро своей шапкой.

— Теперь мой черед, — сказал Илюша, потирая руки. — Кабы и мне такого же окунища! О щуке я боюсь теперь и думать, чтобы не сглазить.

Увы! Второй жерлицей не соблазнился и посредственный окунек; веревка, как была накануне наvertана на развиленную палку, так и осталась нетронутой.

— Вот мне всегда такая незадача! — чуть не заплакал Илюша. — Нет, эта жерлица не может идти в счет.

Но тут запротестовал Кирюшка:

— Как бы не так! Третья жерлица — моя. Таков уговор.

— Да, Илюша, — сказал Юрий, — уговор лучше денег. Пятая жерлица опять твоя. Потерпи.

Что делать! Надо было покориться, потерпеть.

А вот и третья, Кирюшкина жерлица. Как на первой, веревка размотана и крепко натянута. Кирюшка заликовал, отдал весло Илюше, а сам обеими руками взялся за веревку. В тот же миг ее потянуло под киль лодки. Сидевший за рулем Юрий круто повернул лодку, веревка снова выплыла из-под кия и стала описывать широкие круги. Но при этом она обвилась вокруг пучков осоки, крутилась-крутилась, пока, как говорится, ни тпру,

ни ну. Кирюшка крупно забранился.

— Чем попусту браниться, — сказал ему Юрий, — ты подтянулся бы веревкой поближе: может, она и поддастся... Да тише, полегче! Оборвешь.

Осерчавший Кирюшка, как бы назло, дернул веревку, что было мочи, и как предсказал Юрий, так и вышло: веревка оборвалась, а сам Кирюшка упал назад и чуть при этом не опрокинул лодку.

— Ведь что я тебе говорил, болван? — напустился на него Юрий. — Еще всех нас выкупаешь в платях, а рыбу упустишь.

Уйти рыбе, впрочем, было довольно трудно: запутавшись в траве, веревка не давала ей ходу. Оборванный кончик веревки плавал еще на воде, и Илюше удалось подхватить его на свое удилище.

— Я знаю, что сделать! — сказал он. — Дайка мне, Кирюшка, попытать теперь счастья.

— Ну да! — вскинулся тот. — Ты вот так и справишься!

— Справлюсь, увидишь. Я уступлю тебе зато мою следующую жерлицу. Хорошо?

— А на той, может, опять ничего не будет!

— Ну, голубчик, Кирюшенька...

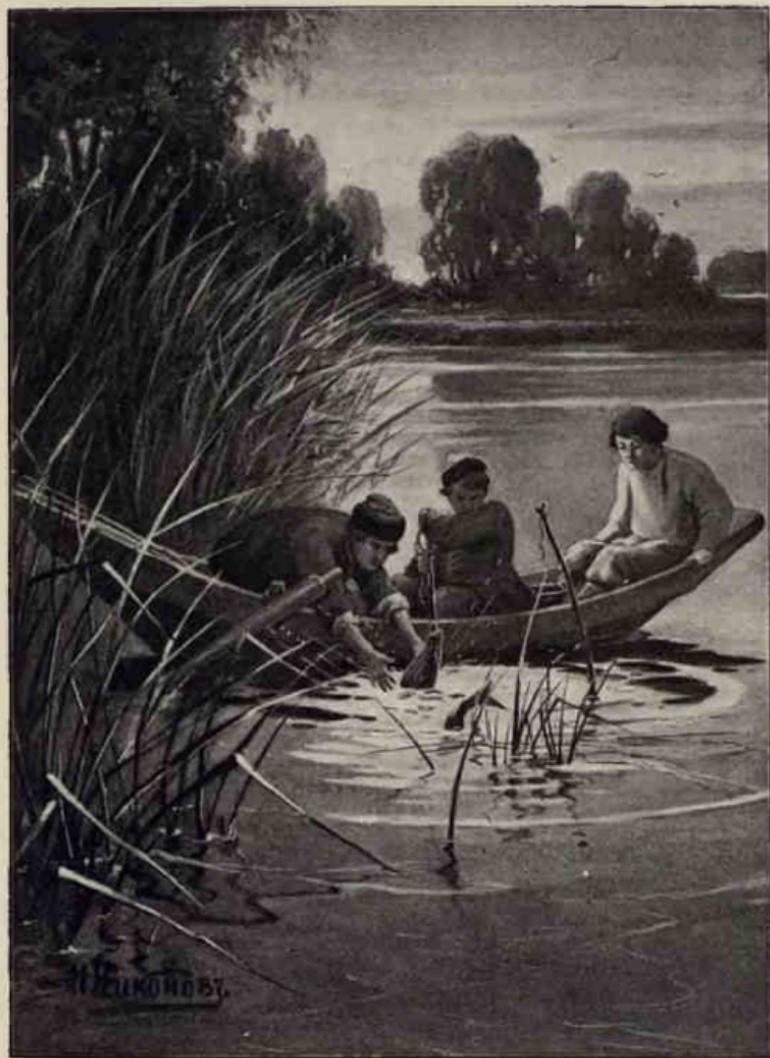
— Да что ты, Илюша, с ним еще торгуешься? — вмешался Юрий. — Ведь он прогадал уже свою очередь, дал оборваться жерлице...

— Но она все же еще моя, я ее никому не уступлю! — уперся Кирюшка.

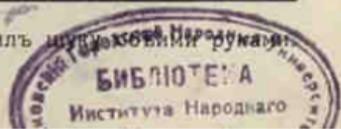
— Молчать, холоп!

Это был тот же безапелляционный, повелительный тон, что и у его отца. Кирюшка примолк и злыми глазами следил только за тем, как Илюша с помощью веревки осторожно притянул к себе обвитый ею пучок осоки и принялся выщипывать из пучка травку за травкой. Чтобы облегчить брату задачу, Юрий опустил в воду грузило — увесистый камень, после чего лодку уже не уносило течением. Не прошло пяти минут, как веревка была освобождена от сдерживавших ее трав.

Рыба рванула было опять в сторону, но Илюша по примеру брата принялся "водить" ее. Сам он был как в лихорадке, щеки у него пылали, глаза горели, руки тряслись. Но обмотанную вокруг кулака веревку он держал крепко, и когда, наконец, замучил рыбу, то, не давая ей уже опомниться, стал вытаски-



Юрій перегнувся черезъ бортъ и схватилъ шкуру хвоста Мордукама.



вать веревку обеими руками. Рыба снова забилась как бешеная.

— Уйдет, ей-Богу, уйдет! — залепетал Илюша, полный надежды и страха.

Он напряг последние силы, и вот над водой показалась огромная щучья пасть, вся усаженная иглами бесчисленных зубов. Неизвестно еще, удалось ли бы ему одному втащить в лодку это страшилище, в котором потом оказалось до полупуда весу. Но Юрий перегнулся через борт и схватил щуку обеими руками. Хотя она вслед за тем и вырвалась у него опять из рук, но упала уже не обратно в воду, а в лодку. Тут на нее навалился Кирюшка и придавил ее коленом.

— Зубов-то, зубов полон рот! — говорил он. — Ну, матушка, давай-ка сюда крючок.

Он полез рукой в открытую щучью пасть, но в тот же миг пасть защелкнулась, и Кирюшка заревел благим матом:

— Ах, подлая!

И он нажал на щуку коленом с таким уже остервенением, что выдавил у нее внутренности. Зато пасть ее опять раскрылась, и он мог высвободить руку.

— Какой ты, однако, злющий, Кирюшка! — укорил его Илюша.

— А ты, небось, так и дал бы съесть себя? — огрызнулся тот, обсасывая свои окровавленные пальцы.



Глава шестая

БЕГЛЕЦ

— Эй вы, рыболовы! — донесся тут зычный окрик.

Все трое обернулись — и зажмурились: восходившее только что из-за излучины речки солнце брызнуло им в глаза своими ослепительными лучами. Заслонившись рукой от нестерпимого блеска, они различили на противоположном берегу несколько человек ратных людей.

— Вам чего, братцы? — откликнулся Юрий.

— Не видали ль вы тут по берегу прохожего, бродяги?

— Бродяги! Может, и беглого разбойника?

— Может, и так.

— А зовут его Осипом Шмелем?

— Да ты-то, сударик, отколе имя его знаешь?

— Из государева указа. Вчерась привез его к нам на усадьбу ярыжка разбойного приказа.

— Да уж как мы его, дурня, потом напугали! — подхватил, смеясь, Кирюшка.

— Так это вы, что ли, в лесу напали на него?

— Знамо, мы. С пьяных глаз он нас, верно, тоже за разбойников принял. То-то смехоты было!

— Ай, озорники! А мы вот из-за вас тут всю ночь напролет рыскай.

— Знать, боярские дети, что с них возьмешь! — проворчал другой ратник. — Что ж, искать нам еще того Шмеля, аль оставить?

— Как оставишь, коли велено обшарить всю округу? — отвечал сердито первый ратник. — На этой-то стороне ему негде схорониться, мало лесу. А что, сударики, — отнесся он опять к боярчонкам, — на ту сторону как нам ближе перебраться?

— Версты две выше по речке будет мельница, — объяснил Юрий, — там и мост.

— Найдем, спасибо.

И ратники удалились. Мальчики со смехом стали опять вспоминать разные подробности про труса-ярыжку, когда в береговых кустах послышался вдруг подозрительный шорох.

— Чу! Это что? — насторожился Илюша. —

Точно человек сквозь кусты пробирается.

— Алибо корова! — подтрунил Кирюшка. — Страсти какие!

— Ч-ш-щ-ш! Тебе все бы только зубоскалить, а как повстречался бы с настоящим разбойником лицом к лицу, так сам дал бы тягу.

— Кто? Я-то!

— Да, ты. От воробья убежишь... Слышите? Вон опять... Что, Юрий, не посмотреть ли нам в кустах на всяк случай?

— Да, надо будет. Терпеть не могу, когда этак от дела отрывают! Что же, причаливай, Кирюшка.

Сам Юрий вынул из воды грузило, а когда лодка пристала к берегу, он с веслом в руках первым поспешил в кусты: Кирюшка с другим веслом — вслед за ним. Илюша наскоро еще привязывал лодку, как услышал снова повелительный голос Юрия:

— Сдавайся! Все равно, брат, ведь уже не уйдешь.

Полминуты спустя и Илюша был на месте действия. Среди кустарника полулежал на земле ражий мужик. Одна нога его была в лапте, другая просто в онуче, и онуча была

насквозь пропитана запекшейся кровью. Поврежденная нога, очевидно, не давала беглецу уйти. Но сдаваться этак сразу двум отрокам, хотя бы и вооруженным веслами, он не был намерен: в руке у него блестел длинный нож, а возбужденные черты лица дышали отчаянной решимостью.

— Идите своей дорогой! — пыхтел он, окидывая обоих свирепым взглядом затравленного волка.

— Коли ты мирный человек, так мы тебя пальцем не тронем, — отвечал Юрий. — Но кто ты такой? Говори.

— Стану я всякому мальчишке ответ держать!

— А я скажу тебе, кто ты: ты — разбойник Осип Шмель, из шайки Стеньки Разина.

— Николи я ни о каком Осипе Шмеле, ни о шайке Стеньки Разина и слыхом не слыхал.

— Кого ты, любезный, морочишь? Сейчас ведь только подслушал, как ратники нас о тебе спрашивали. Да и приметы у тебя все те же, что показаны в государевом указе: волосы черные, лицо смуглое...

— Мало ли кто черен и смугл из лица!

— На левой щеке рубец от самого уха...

— Дерево в лесу рубил, ну сучком и поцарапнуло.

— А левую руку свою ты зачем прячешь?

— Вовсе не прячу!

— Есть ли у тебя на ней все пять пальцев?

Покажи-ка. У Шмеля недостает мизинца.

Разбойник понял, что долее отпираться все равно ни к чему бы уже не повело.

— Ну, что же, опознали молодца, так и спорить не о чем, — сказал он совершенно уже иным, упавшим тоном. — А государев указ про меня кому дан? Родителю твоему, что ли?

— Да, родителю.

— Боярину, значит?

— Боярину.

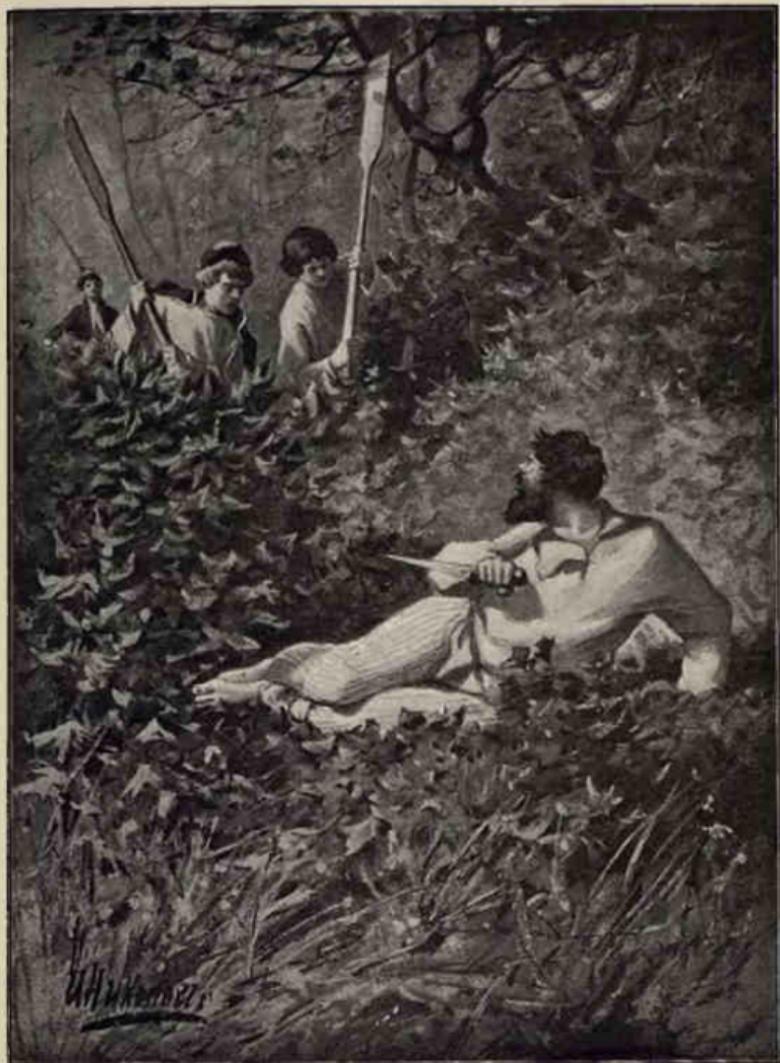
— И прислан от воеводы?

— От воеводы.

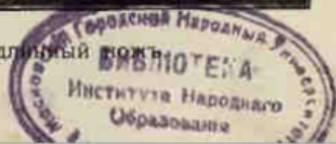
— Так... Стало, ты выдашь меня головой своему родителю, а он — воеводе? С безвинного человека будут кожу драть кнутом, а тебе и любо?

— Ты-то безвинный? Душегуб!

— Какой я душегуб, помилуй Бог! — вздохнул разбойник. — Сроду за мной того не води-



Въ рукѣ у него блестяль длинный



лось.

— Ни одной души христианской не загубил? Ей-Богу?

— Чтоб мне на этом самом месте без исповеди издохнуть!

— Но был же ты все-таки в шайке Стеньки Разина?

— Ох, ох, ох! Чашу горя людского ты, барич милый, не токмо еще не испил до дна, но, знать, и не пригубил. Кабы знал ты да ведал, как иной из нашей братьи в экую шайку попадает, так пожалел бы всем сердцем.

— А ты как же попал? — спросил Кирюшка. — Занятно бы послушать.

— Занятно! Эй, милый! Ведь вон барич все равно меня выдаст, так чего уж тут рассказывать?

— Дай ему рассказать, Юрий, — попросил брата шепотом Илюша, которого подкупил искренний тон Шмеля. — Ведь почем знать...

— Коли ты и вправду можешь оправиться перед нами, — обратился Юрий к разбойнику, — так Расскажи по совести все, как было. Там виднее будет.

— По истине все поведаю, необлыжно, как

на духу, — уверил Шмель. — Случилась беда со мной неоглядно, неопамятно...

И поведал он им историю своей жизни — вымышленную или подлинную, об это они никогда потом так и не узнали. По его словам, еще пять лет назад он был крестьянин как крестьянин, была у него своя избенка, была лошадка, коровушка, была и семейка, жена да двое малых ребят. Да на напасть не на-прясть! Послал на ту пору Господь небывалую засуху, за все лето ни капельки дождя. Сена не собрали и на ползимы, а хлеб солнцем вко-нец спалило, не вернули и семян. Ну, зимой, известно, голод да мор, перво-наперво пала лошадь, потом корова, а без коровы не стало и молока детишкам. Пришлось кормить их черным хлебом, да не мучным, а мякинным с лебедой. И схоронили на первой неделе Великого поста мальчугу, а на четвертой и девчурку. Стосковалась тут по деткам женка до смерти, сама того мякинного хлеба в рот не стала уже брать...

Рассказчик встряхнул головой и крякнул, словно в горле у него запершило.

— Протянула, голубка моя, еще этак до Фо-

миной, а там как хлынула у нее кровь гортанью, так тоже Богу душу отдала... — заключил он свою скорбную семейную хронику, утирая рукавом глаза: воспоминание о покойных жене и детях смягчило, казалось, его зачерствелое сердце.

Мальчики относились к его рассказу вначале с понятным недоверием, особенно Юрий, но теперь и он был тронут.

— Да разбойничать-то ты зачем пошел? — спросил он. — Ведь у тебя осталась изба, земля...

— Да что в них толку без скота? А без хозяйки в доме пусто, неустройно, неукладно...

— Так женился бы снова.

— Когда в мошне ни копейки щербатой? А помещику своему я и раньше-то уж задолжал за мякину, в вечную кабалу ему записался.

— В вечную кабалу! Так как же ты тогда посмел от него уйти!

— Мочи моей не стало! Затужил по женке, по деткам так, что на поди. Доброй волей меня все равно не пустили бы, ну, убегом и убеги! Много нас, крепостных, в те поры от голодухи

по белу свету разбрелось.

— И ты ушел на Волгу?

— Куда нужда горькая не загонит! А наслышан я был уже раньше про вольное житье-бытье у атамана молодецкого Степана Тимофеича...

— Разина? Да ты знал ведь, что он — кровопийца?

— Эко слово брякнул: "кровопийца"! Кровопролития пустого у него и в заводе нет.

— Но коли он — разбойничий атаман...

— Да и не разбойничий, как разбойников у вас разумеют, что грабят по большим дорогам без разбору — богатого и нищего. И в песнях наших поется: "Мы не воры, не разбойники — мы удалые добры молодцы".

— Однако ж, вас все же ловят?

— Ловят, потому — вольница: не балуй. Есть такие сыщики: за каждого пойманного молодца положено им из казны по десять рублей, за атамана тридцать, а за пристанодержателя и того больше — пятьдесят. Ну, да и то сказать: назвался груздем — полезай в кузов. А ведомо ли вам, родные вы мои, что такое есть этакий кузов, тюрьма разбойная?

Врыта она в землю под губной избой, для воздуха, заместо окон, только малые дырья оставлены — еле кулак просунуть. И темно-то, и сыро, а уж грязи-то, зверья всякого — и, Боже мой! Сидишь этак, прикованный к колоде, день и ночь в проклятой яме с другими колодниками...

— Да неужто вас никогда и на свежий воздух не выпускали? — спросил Илюша, которого от ужаса мороз по коже пробирал.

— Раз в неделю выпускали похристорадничать. Ходим в кандалах по рынку, голосим-причитаем, хлеба себе на пропитание вымаливаем.

— А денег разве никто вам не подавал?

— Подавали, случалось, да что пользы-то: сторожа — гром Божий на них! — себе все отбирали. Ну, а опосля, продержавши в яме два года, в каторгу нас осудили, наказали плетью, привязали к пруту железному и погнали, как скотину, не в поле на подножный корм, а в Сибирь.

— Тут с пути ты и бежал?

— Тут и бежал.

— И этим самым ножом, пожалуй, еще ко-

го-нибудь из стражников пырнул?

— Что ты, миленький! У меня и ножа-то тогда еще не было.

— Откуда же он у тебя взялся?

— Достался он мне только на той неделе нечаянно, негаданно. Загнал меня, горемычного, лютый голод в деревушку. Глядь: сидят хозяева в избе за ужином. Постучался я в оконце, попросил Христовым именем накормить. Сжалились добрые люди, посадили с собой за стол. Да от сыщика, как от судьбы своей, не уйдешь! Нагрязнул он со стрельцами: "Сдавайся!" Оторопь взяла меня. Владыка живота моего! Хватъ нож со стола. "Посторонись!" Проскочил мимо них в сени, да на улицу. А они вдогонку мне из пищалей, бац да бац...

— Тут тебя, стало быть, и ранили в ногу?

— Тут и ранили. Кабы не в ногу, так нешто лежал бы я здесь, как подстреленный ворон!

— И пуля у тебя все еще в ноге сидит?

— Нет, я тогда же ее ножом вырезал.

— Сам вырезал! Вот это лихо! — не мог скрыть своего удивления Юрий. — Помнишь, Илюша, Богдан Карлыч рассказывал про рим-

лянина, что жег свою руку на огне? Как, бишь, его звали-то?

— Звали его Муцием Сцеволой, — напомнил Илюша. — Но Сцевола спасал тем свою родину, а не свою собственную шкуру.

— Своя шкура чужой дороже! — пробурчал Шмель. — И лиса, как угодит в капкан, лучше отгрызет себе лапу, чем дастся живой в руки.

— Но как же ты, скажи, с больной-то ногой все-таки ушел от стрельцов? — продолжал допытывать Юрий.

— А нагнала меня та шальная пуля около плетня. На дворе уже стемнело, я и притулился за плетнем.

— И они тебя не заметили, пробежали мимо?

— Пробежали. А я тем часом ползком в ближайший бор, да вот который день этак ползу и маюсь.

— А есть откуда доставал?

— Да не откуда. Верьте не верьте, четвертый день маковой росинки во рту не было. Совсем в суставах ослаб.

— Ах, Боже мой! Мы охотно бы тебя накормили, да с собой у самих съестного ничего не

ВЗЯТО.

— Не послать ли нам сейчас Кирюшку домой хоть за хлебом? — предложил Илюша.

— И то, слетай-ка, Кирюшка.

— Слетать-то недолго, — отвечал тот, — а что, как тем временем стрельцы все же поспеют сюда и сцапают его?

— Провал их возьми!.. — проворчал разбойник. — Как-нибудь, касатики вы мои, побмогусь я пока и без хлеба. Все вы трое, вижу я, душевные ребята, задаром не погубите несчастного человека. Взяли бы вы меня, право, к себе в лодку, отвезли бы подальше вниз по речке, да высадили бы на тот берег.

Братья переглянулись: обоим было сердечно жаль "бесчастливого"; Юрий же сочувствовал ему и за его "лихость". Пошептавшись с Илюшей и Кирюшкой, он обратился снова к беглецу.

— Видишь ли, любезный, что мы меж собой порешили. Хоть бы и отвезли мы тебя на лодке подальше, да потом что же? Ты либо погибнешь голодной смертью, либо попадешь все же в руки стрельцам. Так ведь?

— Так-то так...

— Ну, вот. А в нашем саду есть укромный приют — омшаник. Пчелы на все лето вынесены оттуда на солнце. Никто туда к тебе теперь и не заглянет. Пищу тебе приносить мы будем два раза в сутки...

— Награди вас Господь и все святые угодники! А место, точно, глухое?

— Глухое, говорю тебе, в конце сада, от речки же близехонько, около самого забора.

— Да через забор как же я с ногой моей перелезу?

— А у нас там доски подставлены, упрешься на наши плечи — и перешагнешь.

— Аль попытаться?..

— Погоди, это еще не все. Есть у нас в доме лекарь-немчин, лечить великий мастер: больного отца нашего, можно сказать, из мертвых воскресил. Так он вот тебя живо на ноги поставит.

— Ну, нет, Господь с ним, с этим вашим немчином!

— И то ведь, Юрий, — вмешался Илюша. — Богдан Карлыч наш — добрейшая душа, но возьмет ли он лечить разбойника, не спросясь сперва у батюшки?

— Правда... Только вот что, брат Осип, ты не вернешься ведь потом опять к прежним товарищам в шайку?

— Ой, нет! — уверил тот. — Опостылело мне их бесшабашное житье хуже горькой редьки. Пойду я в батраки, в судорабочие — мне все едино. Работать я сызмальства был лих. Замолю грехи свои...

— Ах, Юрик, вот было бы славно! — воскликнул Илюша, вконец обмороченный чистосердечным, по-видимому, раскаяньем разбойника.

— Поклянись же нам в том именем Бога, — сказал Юрий.

Шмель перекрестился размашистым крестом.

— Не видать мне царствия Небесного!

— Вот это так. А теперь дай-ка сюда твой нож.

— Для чего?

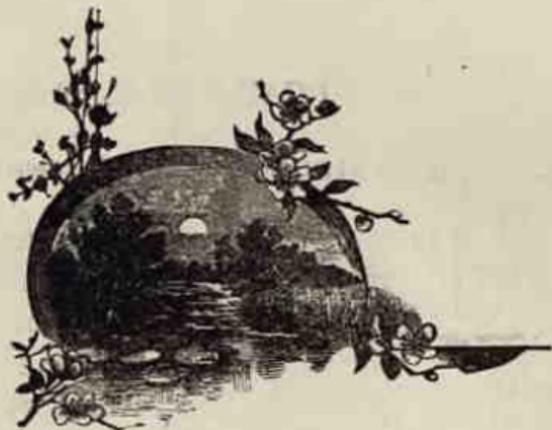
— Тебе он ведь все равно уже не нужен, а найдут его при тебе, так лишняя улика.

Минуту еще разбойник как будто колебался. Но в прямодушных лицах братьев-боярчонков не было и тени лукавства, — и он от-

дал свое единственное оружие. Юрий швырнул его в речку.

— Ну, Кирюшка, берись-ка с той стороны, а я подопру с этой.

И, опираясь на обоих, раненый заковылял к лодке.



Глава седьмая

ПРО СТЕНЬКУ РАЗИНА

Не мог надивиться Богдан Карлыч, что стало такое с его младшим учеником. Ну, Юрий — тот от природы уж ветрен и рассеян, но за Илюшей этого доселе не водилось. Сегодня же и он сидел, как на иголках.

— Нет, по утрам, Илюша, ходить тебе на рыбную ловлю я больше не позволю, — объявил учитель.

— Да ведь у нас еще с вечера были жерлицы поставлены, — оправдывался мальчик. — И какая же нам щука попалась!

— Саженная, — добавил Юрий, перемигиваясь с братом.

— Так мы эту диковину сейчас в кунсткамеру отправим, — в тон ему пошутил Богдан Карлыч. — Неужели саженная?

— Саженная и двуногая, — не унимался шалун. — Только ногу одну ей крючком шибко поранило.

— Ведь плавники у рыб то же, не правда ли, что у людей руки и ноги? — поспешил до-

сказать Илюша, бросая на брата укорительный взгляд. — А что, Богдан Карлыч, какую примочку ты прикладывал на рану тому, знаешь, мужику, что намедни отхватил себе топором палец?

Говоря так, мальчик подошел к стенной полке, на которой у учителя-лекаря был расставлен целый ряд бутылей и склянок.

— Не эту ли?

— Эту самую, — отвечал Богдан Карлыч. — А ты, что же, лечить тоже свою раненую щуку собираешься?

Илюша невольно покраснел и принужденно рассмеялся.

— Отчего бы и нет? Ведь ей так же больно, как и человеку.

На этом разговор о диковинной щуке и прекратился.

Простодушный немец все еще ничего не подозревал. Но когда, после обеда, он возвратился опять к себе и по привычке осмотрелся кругом, все ли в горнице в порядке, — то сразу заметил, что той именно бутылки, о которой была давеча речь, нет уже на полке. Тут припомнился ему весь давешний разговор о дву-

ногой щуке, припомнилось и замешательство Илюши.

"Что-то неладно", — сообразил он, взял с гвоздя шляпу и спустился опять вниз, чтобы справиться у дворовых, не видал ли кто боярчонков.

Тем временем Илюша в омшанике обмыл уже беглецу рану чистой водой, обложил ее целительной примочкой и забинтовал снова своим собственным полотенцем. Юрий же принес проголодавшемуся огромный кусок пирога, который выпросил у старухи-ключницы будто бы для себя самого, а Кирюшка — кувшинчик "зелена вина", который, без всякого уже спросу, взял из поставца старика-деда.

Шмель сказал, видно, правду, что давно у него "маковой росинки во рту не было": с жадностью волка в две-три минуты уплел он весь кусище пирога, запивая его из кувшинчика вином, а покончив с едой, не отнимал уже кувшинчика от губ, пока его до дна не опорожнил. Сидя верхом, как на коне, на опрокинутой пчелиной колоде, он в наилучшем расположении духа, слегка, по-видимо-

му, уже навеселе, замурлыкал про себя какую-то удалую песню.

— Да ты бы немножко погромче, а то не разобрать, — сказал ему Юрий, усевшись с Илюшей и Кирюшкой на другую колоду. — Про кого это? Не про вольницу ли вашу?

— А то про кого же? Послушать любо-дорого! — отозвался разбойник и, отерев усы, затащил вполголоса:

*Как по той ли по реке по Волге-матушке
Выплывают ли стружечки молодецкие;
На стружечках тех сидят удалыцы-гребцы,
Удалыцы, все молодчики поволжские.
Хорошо удалыцы все изнаряжены:
На них шапочки собольи, верхи бархатны,
На плечах у них кафтаны однорядочны,
Канаватные бешметы в нитку строчены,
Галуном рубашки шелковы обложены,
Сапоги на всех молодцах сафьяно-*

вы,
Они веслами гребут, поют песенки...

— Вот так-так! — воскликнул Кирюшка и щелкнул языком. — Кабы и нам тоже!

— Да точно ли все вы там так уж богато разодеты? — усомнился Илюша.

Шмель лукаво прищурился одним глазом.

— Побывай к нам на Волгу, покатаем тебя на наших стругах — своими глазами тогда все увидишь.

— А струги ваши что такое? Большие деревянные лодки?

— Деревянные, но раззолоченные, уключины серебряные, паруса шелковые.

— Ну, этому я, брат, не поверю! Откуда у вас столько золота, серебра и шелку?

— Не веришь — не верь, твое дело. А посмотрел бы ты, как мы, бывало, дуван дуваним, нажитое, значит, на Волге добро меж собой делим, — у самого бы, поди, глазенки разбежались.

— А что он, атаман-то ваш, таперича все на Волге гуляет? — спросил Кирюшка.

— Батюшка-то наш Степан Тимофеич? С

летошнего года он у персидского султана гостит, да ныне, слышь, опять в Астрахань вочащается, по Волге-матушке, знать, взгрустнулося.

— Своих опять, русских людей пограбить захотелось? — заметил Илюша.

— Эх ты, миляга мой! Не в грабеже, не в корысти одной у нас дело, дело в воле, в удалой потехе. А где и воля, где потеха, как не на Волге-матушке, да на море на Хвалынском.[5]

Юрий до сих пор не промолвился еще ни словом, но судя по его задумчивому, сумрачному виду, хвастливые речи товарища пресловутого атамана разбойников запали ему глубоко в душу.

— Но ведь Разин, кажись, из донских казаков? — спросил он Шмеля.

— Из донских.

— А ведь те живут у себя на Дону станицами и присягали на верность нашему московскому царю?

— Присягали, точно, и домовитые станичники служат ему верой и правдой по-своему: коли супостат какой, примерно, пес крымский, хан татарский, на Русь войной пой-

дет, — донцы уже тут как тут, вокруг стана вражьего гарцуют, не дают поганцам покоя, отбивают у них обозы да разносят вести по городам и селам, что "супостат, мол, идет: берегитесь, люди православные!"

— Но и Разин же ведь тоже присягал государю?

— Об этом сказать тебе не умею. Не моя забота.

— Да коли он атаман...

— Атаман, да не войсковой...

— А самовольный, разбойничий?

— Изволишь ли видеть, — уклонился Шмель от прямого ответа, — доподлинный-то наш, выборный войсковой атаман Корнило Яковлев не пускал Степана Тимофеича с Дону на Азовское море пошарить туречину: белый царь-де живет ноне в мире с турецким султаном, не велит его забижать. Ну, а душа простора просит! Ведом ли тебе, сударик, обиход голытьбы казачьей?

— Какой такой голытьбы?

— Да бессемейных, бездомных казаков. Пошатавшись за лето по белу свету, испрохарчившись до последнего гроша, всяк к зиме

теплый угол отыскать себе норовит, а где его и искать, как не на тихом Дону? И лежит молодец там всю зиму зименскую за печкой, что сурок в своей норе. По весне же по ранней и птица тянет. Как пройдет тут по станице ясным соколом наш Степан Тимофеич, как кликнет клич: "Эй вы, казаки добры молодцы! Кому охота со мной на Волгу рыбу ловить?", — тут все лежебоки вспорхнут вольными птицами — и на Волгу.

— Пока не попадут в руки стрельцам, — досказал Илюша.

— С Степаном-то Тимофеичем? Ха! Руки коротки.

— Тебя ж, однако, схватили?

— Да отчего, спроси, схватили? Оттого, что сам-то он, наш батюшка, в те поры был уже за горами, за морями, в персидской земле. Не слыхали вы, что ли, ребятушки, как он вызволился с товарищами из острога?

— Как?

— А вот как. Привели его к другим колодникам.

— Здорово, молодцы! — говорит.

— Здравствуй, батюшка наш Степан Тимо-

феич!

— Чего здесь долго засиделись? Пора вам и на волюшку выбиратья.

— Пора-то пора, — говорят, — да не выбиратья из-за девяти замков, десяти затворов. Разве что твоей хитростью-мудростью.

— Достаньте-ка мне уголек.

Достали уголек. Взял он, написал на стене казацкую лодочку с мачтой, с веслами, как есть.

— Подайте теперь ковш воды.

Подали и воды. Плеснул он на лодку из ковша.

— Прыгай все в лодку!

Только прыгнули, схватились за весла, ан вода и разлейся рекой до самой Волги! Грянули песню молодцы, ударили в весла, — только их и видели!

— Эка штука! — восхитился Кирюшка. — Чародей, одно слово.

— Коли есть на свете чародеи, — усомнился Илюша. — По-моему, это простая сказка.

— Сказка, да не простая, — возразил со своей стороны Юрий, — заслушаешься!

— Сказка аль быль, — сказал Шмель, — да

мы-то, казаки, в нее верим. Сказывают еще, что всякое оружие он заговорить может: из пушки в него пали — не выпалит. Суда оставливает своим ведовством...

— Это как же?

— А так, что есть у него, слышь, волшебная кошма, ковер-самолет, и по воздуху летит, и по воде плывет. Завидит он с бугра судно, сядет на кошму, полетит, да над самым судном как крикнет: "Сарынь на кичку!"

— А это по-каковски?

— По-калмыцки: "сарынь" — значит толпа, ватага, а "кичка" — нос. Как услышат только приказ тот судорабочие, так всей ватагой хлоп на нос и ни гугу; судохозяин же, коли не круглый дурак и совесть чиста, бросит на палубу свой полный кошель, а сам — под палубу, в каморку и молится перед иконой: отвел бы Господь беду. Буде он со своими рабочими добр и справедлив, то беда его минует: подберет атаман кошель, заберут молодцы с судна что кому больше приглянется — и только; самих людей пальцем не тронут. Буде же хозяин человек недобрый да несправедливый, и нажалятся на него рабочие атаману — тут

уже просим не прогневаться! Крови людской атаман не жаждет, но злых людей карает, что сами чужую кровь пьют. И куда бы ни пристал он со своими молодцами — к городу ли, к посаду ли, к селу ли, — везде ему равный почет, всякого яства и питья преизобильно" Баньку ли где себе истопить велит, квасом пару поддает, с мятой и калуфером парится. Воеводам только бы мыться в такой бане!

— Экая жизнь-то красная, подумаешь — помирать не надо! — с завистью вздохнул Кирюшка. — И что же, всякого Степан Тимофеич ваш принимает к себе, кто бы ни попросился?

— Всякого, кто своей волей придет, силком никого не нудит. Целуй ему только крест на том, что из воли его атаманской не выйдешь. Все прежние вины тебе, как на духу, простятся, и помину им нет. Подрежут тебе волосы этак в кружок по-казацки, — и станешь нам добрый товарищ, удалый же молодец.

— А уйти потом тоже можно?

— До почто уходить-то? Как отведаешь раз той вольной волюшки, так необоримой силой тебя все так и тянет к ней, так и тянет.

— Кабы и нам-то ее отведать! Сесть бы на

коней и вся недолга; а добрых коней на конюшне у нас на всех хватит!

— Что ты пустое болтаешь! — возмутился Илюша, тогда как старший его брат, насупясь, молчал, точно что-то соображая.

— Да и вам-то обоим при бабушке сладко, что ли, живется в опале? — не унимался Кирюшка. — Извелись ведь оба от скуки. Сидите как в яме осторожной, свету Божьего не видите.

— Ишь ты, шустрый какой! Хват-парень! — с одобрением подмигнул ему Шмель. — Дошлый бы казак вышел! И вправду ведь, кормильцы вы мои, пораскиньте-ка умом, что ваше житье тут и что наше на Волге? Тьфу, черт! Никак кто-то идет.

Он не ошибся; дверь внезапно распахнулась, в полутемный омшаник влился яркий поток солнечного света, и на этом ослепительном фоне вырисовалась черным силуэтом высокая человеческая фигура.

— Богдан Карлыч! — вырвалось разом у всех трех мальчиков.

Глава восьмая НА ХЛЕБ И НА ВОДУ

— А я вас, други мои, ищу да ищу, — говорил Богдан Карлыч, осторожно спускаясь по шатким деревянным ступенькам в полутьне омшаника. — Прямо со свету вас и не разглядишь. Что у вас тут?

Мальчики в смущении своем не собрались еще с ответом, как беглец уже ответил за них:

— Да вот, батюшка, ведем беседу согласную. Повязали они мне, убогому калеке, большую ногу, как мне и не чаялось. Дай им Бог здоровья!

Приглядевшись к окружающему сумраку, Богдан Карлыч различил теперь и сидящего верхом на колоде разбойника.

— Больную ногу? — переспросил он. — Ха-ха! Так вот она, ваша двуногая рыба! Что же вы, милые, прямо мне так и не сказали?

— Да не хотелось тебя беспокоить... — проворкотал Юрий.

— Какое же беспокойство? А справились ли вы с перевязкой? Ну-ка, покажи, любез-

ный.

— Нечего и показывать, — уклонился раненый, — лучше не надо.

— Да я ведь лекарь. Примочку для тебя они взяли от меня же. Но, может, она для тебя и не годна. Сейчас узнаем.

С этими словами Богдан Карлыч уже прикорнул на корточки перед раненым и взял в руки его перевязанную ногу.

— Отойди-ка от света! — сказал он, не обращившись, Кирюшке, отретировавшемуся уже к выходу.

Тот не замедлил воспользоваться случаем, чтобы совсем ускользнуть из омшаника, пока его не притянули к ответу.

— Забинтовано на первый раз изрядно, — похвалил Богдан Карлыч, размотав бинт. — Это что же? Будто ножом вырезано... Гм!

— Да, он сам себе выковырял пулю, — брякнул второпях Илюша и, тотчас же спохватившись, прикусил язык.

— Пулю? — переспросил Богдан Карлыч. — То-то вот я и вижу... Где у тебя, Илюша, примочка?

— Вот, Богдан Карлыч, — поспешил Илю-

ша подать ему бутылку с примочкой, а затем и остаток своего полотенца. — Тут и свежий бинт.

— Ну, вот, смотри, дружок, учись, как это делают, — говорил наш лекарь, искусно накладывая новую повязку. — Но скажи-ка, братец, как эта беда могла с тобой приключиться? — обратился он опять к Шмелю. — Подстрелили тебя на охоте, что ли?

— Нет, сударь, своя же оплошка, — придумал уже разбойник. — Задел, вишь, ружьем за куст...

Богдан Карлыч с некоторым недоверием воззрелся на неумелого стрелка.

— Пстой-ка, брат, пстой, — сказал он, пристально вглядываясь в его черты. — У тебя на щеке красный рубец, а в царском указе, помнится, была и такая примета...

Он не договорил. Богатырский кулак разбойника железным молотком опустился на его темя, и, не издав ни звука, учитель упал без чувств. Шмелю, очевидно, хотелось сразу отделаться от опасного свидетеля. Не сообразил он сгоряча одного, что жалостливые к нему боярчонки не спустят ему такой распра-

вы с дорогим им человеком. Юрий стал осыпать неблагодарного упреками, Илюша же выскочил из омшаника и закричал не своим голосом:

— Люди, люди! Помогите!

Омшаник, как сказано, лежал в глубине сада, вдали от жилых построек. Пронзительный крик мальчика был, однако, услышан пчеляком, возившимся со своим сынишкой недалеко от омшаника, около ульев. Оба бросились на крик. Узнав от Илюши, в чем дело, пчеляк отрядил сынишку домой скликать поскорей побольше народу, чтобы схватить разбойника. Вскоре стали сбегаться с разных сторон дворовые, вооруженные кто чем попало.

Вышедший между тем также из омшаника Юрий объяснил им, что бояться разбойника нечего: он безоружен и, будучи ранен в ногу, без чужой помощи шагу ступить не может. Связать его только, а там обоих — и его, и Богдана Карлыча — вынести из омшаника.

Сказано — сделано. Несколько детей из более дюжих и смелых, подбодряя и подталкивая друг дружку, ввалились в омшаник, где тотчас и поднялась шумная брань и возня:

Шмель, очевидно, не так-то охотно давался им в руки. В конце концов, конечно, его осилили и выволокли оттуда связанным по рукам и ногам, а вслед за тем вынесли гораздо уже бережнее и Богдана Карлыча. Тот, оказалось, был только оглушен увесистым кулаком разбойника и на свежем воздухе стал понемногу приходить опять в себя.

Тем временем весть о поимке боярчонками великого злодея Осипа Шмеля разнеслась уже по всей усадьбе, долетела и до ушей самого боярина. И вот он также показался меж деревьев в сопровождении дочери и целой свиты приживальцев, в том числе, разумеется, и своего ближайшего приятеля и советчика Пыхача.

— Исполать вам, детушки! — издали еще крикнул он сыновьям. — Это вы его ведь накрыли? Так и отпишу воеводе, а он пускай донесет в Москву самому государю. Порода Талычевых-Буйносовых все же сказывается! Да чего вы, словно красные девицы, стыдитесь своей прыти, прячетесь от меня? Смотрите смело-весело: вот мы, мол, какие! А это он, злодей? Ну, погоди, голубчик, погоди! Отольются

волку овечьи слезки. Да что ты там возишься с ним, Богдан Карлыч?

При предшествовавшей борьбе в омшанике наложенная на рану Шмеля повязка сдвинулась, и кровь забила из-под нее ключом. Сам Шмель и бровью не моргнул, только зубы крепко стиснул. Но Богдан Карлыч, оправясь от обморока, сразу заметил обнаженную рану своего пациента и, присев перед ним наземь, принялся с прежней старательностью исправлять изъян на перевязке.

— А вот, видишь, кровь останавливаю, — отвечал он на вопрос Ильи Юрьевича.

— Хошь и немчин, а все ж таки христианская душа! — огрызнулся тут в свою очередь Шмель. — Не то, что твои щенки боярские! Спервоначалу будто бы и сжалились, а там, глядь, и выдали головой!

— Сжалились над тобой разбойником? Быть того не может! Врешь ты, окаянный пес! — заревел на него боярин.

— А вот хошь самих опроси. Не видишь, что ли, что они и глаз-то на тебя вскинуть не смеют. Эх, вы! А еще боярского рода!

— Не подними ты руки на Богдана Карлы-

ча, от нас про тебя никто бы не узнал, — про-
бормотал Юрий в свое оправдание.

— Что? Что такое? — вслушался Илья Юрьевич. — Сейчас сказывай, как было дело?

— Нет, лучше ничего не говорить, — отве-
чал в каком-то ожесточении сын. — Слы-
шишь, Илюша, ни слова!

— Вот до чего я дожил! — воскликнул Илья Юрьевич, и жилы на лбу у него зловеще на-
лились. — Родной сын подучивает брата не
слушаться отца!

— И охота тебе кипятиться, батя! Упрям-
ством он в тебя же ведь пошел, — вполголоса
старался урезонить его Пыхач, а затем обра-
тился к младшему его сыну: — Ты, Илюша, у
нас порассудливей. Признайся-ка прямо, так,
мол, и так. Повинную голову и меч не сечет.
Опосля все ведь и без того откроется.

— Юрий молчит, так и я смолчу, — уперся
теперь и Илюша.

— Ай да умники-разумники! — презри-
тельно усмехнулся Шмель. — Хватились шап-
ки, как головы не стало. Отвратилась от вас
душа моя! Таить мне теперь от родителя ва-
шего нечего! Поведаю я тебе, боярин, все, как

было. Будь я анафема, коли солгу! А ты сам уж потом рассуди, чем наградить сынков, медовым ли пряником аль березовым веничком.

Коротко и без прикрас рассказал он главные обстоятельства дела. По мере того как Илье Юрьевичу становилось ясно, что сыновья его заведомо укрыли в омшанике разбойника, чтобы, вопреки государеву указу, избавить от законной кары, раздражение его все более росло.

— Я выбью из вас эту дурь, на сем месте выбью! — загрохотал он громовым голосом. — Батогов сюда! Ну, что же? Аль слово мое уже не властно?

Несколько человек из дворни бросились вон со всех ног исполнить волю своего грозного властителя.

Лицо Юрия покрылось мертвенной бледностью. Но он крепко сжал только руку стоявшего около него брата и повторил ему шепотом:

— Молчи!

Сестренка же их не выдержала и умоляюще обняла отца:

— Милый батюшка!..

Илья Юрьевич оттолкнул ее от себя так грубо, что девочка отлетела в сторону и растянулась на земле. При этом она, должно быть, сильно ушиблась, потому что громко вскрикнула, заплакала и в первую минуту не могла даже встать. Поднял плачущую на ноги Богдан Карлыч, при чем не утерпел, укорил ее отца:

— Сказать тебе, Илья Юрьевич, совсем моим решпектом: дочку-то зачем обижаешь? Натура у нее тонкая, деликатная...

— Отвяжись ты со своим "решпектом"! — оборвал его боярин.

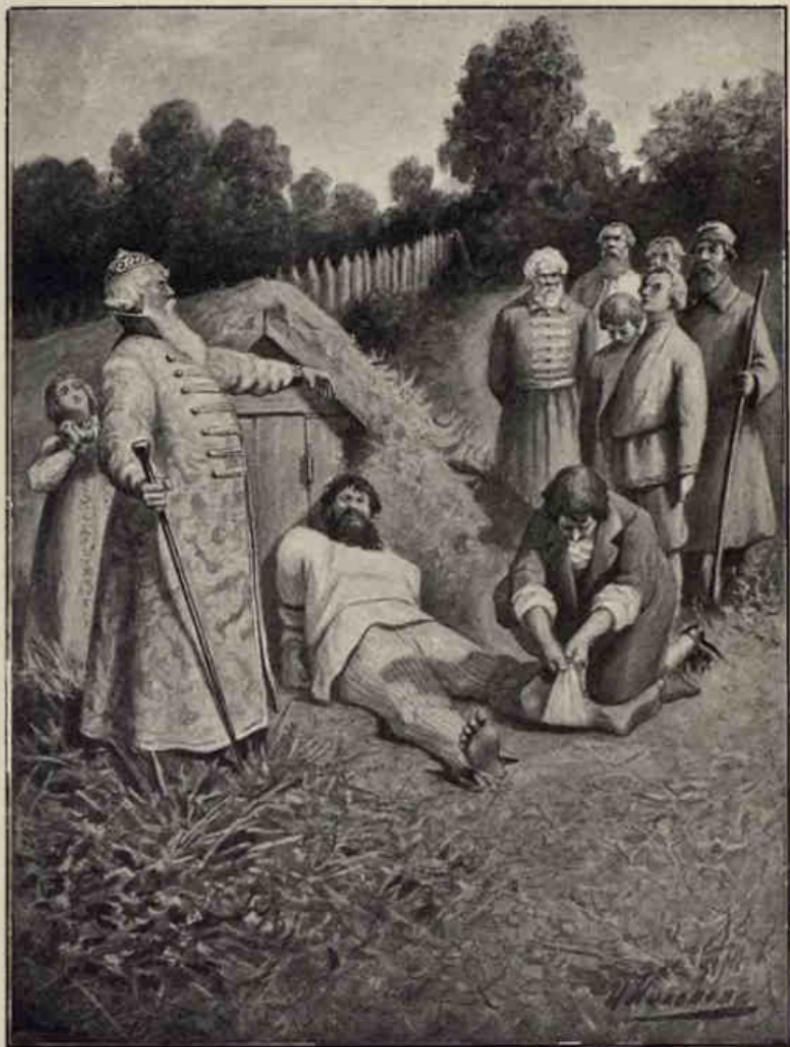
Но тот еще не отвязался:

— А резолюцию насчет шалунов не отложишь ли лучше до утра?

— И то ведь, Илья Юрьевич, — поддержал тут Пыхач. — Утро вечера мудренее. Сдурили они не с какого злого умысла...

— Ты-то, Емелька, чего еще суешься? — буркнул и на него Илья Юрьевич. — Учинились они ослушными государеву указу, а теперь, вишь, и мне, своему родителю, не хотят ответ держать.

— Да почему не хотят? Потому, не во гнев



Я выбью из вас дурь... Ватгоговъ сюда!



тебе молвить, что уродились в тебя же, как и сам ты, непокорливы. К утру одумаются, и ты утихомиришься... Утро вечера мудренее.

— Заладил одно, дурак!

— А ты больно уж умен, батя, — продолжал "дурак", понижая голос, — сторяча отхлещешь сынков своих батогами до обумертвия при всем народе, как последних смердов, и себя-то, и их обоих перед всем светом навек ославишь. Станешь клясть потом день рожденья своего — да уж ау! Сделанного не воротишь!

Говорилось это так тихо, что окружающим не было слышно. Тем более было общее удивление, когда боярин внял совету "Емельки-дурака".

— Добро! Обождем до завтрего... — объявил он, отдуваясь, как от жаркой бани. — Ты, Богдан Карлыч, посадишь их обоих до утра на хлеб и на воду.

— Я рассажу их врозь, — отвечал учитель. — Илюшу возьму к себе...

— А это, батюшка, уж твоя забота. Но где же первый всему заводчик, шалопут этот, Кирюшка? Сказать Кондратычу, чтобы к утру

мне его представил, а не представит, так с самого шкуру сдеру!

— Живо дер ты, боярин, как погляжу, не из последних, — заметил тут с наглой усмешкой Шмель. — Меня-то хошь в целости воеводе представишь: с одного вола двух шкур не дерут.

— Ну, это бабушка еще надвое сказала! С тобой, дружище, наши счеты не покончены. На прощанье завтра накормим тебя тоже — чем богаты, тем и рады, хоть березовой кашей, а то, может, еще и чем послаще. Утро вечера мудренее!



Глава девятая

НАУТЕК И В ПОГОНЮ

Разобщив своих двух учеников друг от друга, Богдан Карлыч принес каждому по изрядному ломтю черного хлеба с солью да по кружке воды. При этой оказии он счел полезным прочесть и тому и другому соответственную "мораль" за непростительное легкомыслие. Юрий даже не дослушал и заткнул себе пальцами уши.

— Будет, Богдан Карлыч, будет! Оставь меня, пожалуйста! Да убери и хлеб: есть я все равно не стану.

Илюша, напротив, видимо, принял к сердцу благожелательное наставление и оросил свою хлебную порцию горькими слезами.

При виде их и сам наставник расчувствовался.

— Ну, повесил нос на квинту! — сказал он. — Kopf auf! (Голову вверх!)

— Как носа не повесить! — прошептал в ответ Илюша. — Ведь Шмеля за побег, верно, опять накажут кнутом...

— Что ж, заслужил. Вырвут и ноздри...

— Ну, вот! Это ужасно! Это ужасно! И мы с Юрием его подвели, оставь мы его тогда в лесу, его, может, и не нашли бы...

— И пошел бы он опять убивать людей и грабить...

— Нет, нет, он поклялся нам, что станет работать... Мягкосердый мальчик еще долго не мог успокоиться и только к полночи заснул тревожным сном.

Но выспаться ему все-таки не дали. С восходом солнца Богдан Карлыч растолкал его.

— Вставай, мой друг, вставай!

Илюша присел на кровати, спросонья растирая глаза.

— Ты и сидя еще спишь, — продолжал учитель, — а мы все тут как на кратере огнедышащего вулкана. Сердце у Илюши захолонуло, сон мигом отлетел от глаз.

— С батюшкой что-нибудь опять?

— Нет, с ним-то ничего, он не вышел еще из молельни и один только ничего не знает. Но темперамент у него холерический, узнавши, он может дойти до такого градуса...

— Да что же такое случилось, Богдан Кар-

лыч? Не томи меня, говори!

— А вот, пока ты одеваешься, я все тебе порасскажу.

Оказалось, что раньше других, на заре, проснулся Архипыч на своем сеновале. Умывшись у колодца, зашел он на конюшню. А там три стойла пусты! И вспомнилось ему тут, что в омшанике оставлен до утра тот разбойник Осип Шмель, оставлен связанным и под стражей, да почему знать?.. Кинулся Архипыч в сад и к омшанику. Где же стража? Стражи не видеть. Но дверь в омшаник все же на задвижке. Отодвинул он задвижку, заглянул внутрь. Кто-то лежит там еще на земле. Да разбойник ли то, полно? Подошел ближе, наклонился — так и есть, пчеляк Мироныч! "Ты ль это, Мироныч?" А у того и рот забит тряпкой, в ответ мычит только, как бык.

— Прости, Богдан Карлыч, — перебил тут учителя Илюша. — Но ведь сторожить Шмеля должен был вовсе не Мироныч, а два молодых парня...

— Демидка и Варнавка, верно. Но те были званы на свадьбу в Покровку и поднесли Миронычу жбан браги, чтобы посторожил за

них. А какой уж он аргус, особенно после бра- ги!

— Но Шмель был же связан по рукам и ногам? Значит, сам он все-таки не мог освободиться...

— Не мог. Помогли ему два других молодца.

— Неужто Кирюшка?.. — догадался Илюша. Второго имени он и произнести не смел.

— Кирюшка, да. От него всего можно было ожидать. Но чтобы и братец твой бежал с разбойником...

— Не может быть! — вскричал Илюша. — Что-нибудь да не так...

— Увы! Все так, ни в спальне, нигде его нет.

— Но дверь нашей спальни, Богдан Карлыч, была же на заперти, и ключ ты положил к себе в карман.

— На что ему ключ, когда есть окошко? — глубоко вздохнул учитель.

— Но оно во втором жилье... Ты думаешь, что он спрыгнул с такой высоты?

— Да ведь насупротив самого окна, в двух саженях, старая береза. Что ему, прыгну, сто-

ило перемахнуть туда? И я же ведь обучал вас таковым эволюциям! Никогда себе того не прощу.

— Ах, Боже, Боже! Но что будет еще, когда батюшка о том проведает? И подумать страшно! Не подослать ли к нему Спиридоныча? Тот обиняками его подготовит.

— Говорил я с этой старой лисой!

— И что же?

— Умывает себе руки, как Понтий Пилат: "Моя хата с краю — ничего не знаю".

— Так что ж, Богдан Карлыч, придется уж нам с тобой идти. Батюшка, говоришь ты, теперь в молельне?

— В молельне, да. Делать нечего, идем.

Но еще за две горницы от молельни до них донеслись угрожающие раскаты как бы львиного рыка. Оба удвоили шаги.

Дверь в молельню против обыкновения была открыта настежь, следующая за ней дверь в оружейную палату — точно так же.

Посреди палаты стоял Илья Юрьевич и, стуча по полу своей тростью, захлебываясь собственной речью, громил сбежавшихся на его крик нескольких домочадцев.

— Да что же вы все оглохли, онемели, что ли? Вон на стене нет двух саблей, нет турецкого палаша, нет трех пистолей, трех пороховниц. Где ж они, куда девались? Я вас спрашиваю.

— Унесены, стало, государь батюшка, — решился тут подать голос один из холопей.

— Болван! Сам вижу, что унесены. Да кем? Кто посмел их снять со стены?

— Надо быть, что те самые, что увели и трех коней с конюшни.

— И коней увели? А вы, дурачье, стоите тут передо мной, как чурбаны, и хоть бы слово! Всех перепорю!

— Да мы, батюшка, сами сейчас только смекнули, кто те конокрады...

— Кто ж они? Ну!

— Перво-наперво тот злодей и разбойник Шмель...

— Так его вы выпустили из-под стражи, и он ускакал на моей же лошади? А я отвечай теперь за вас перед Государем!

Без того уже красный в лице, боярин весь побагровел и затрясся от прилива бешенства. Вот-вот, кажется, сейчас начнет работать на-

право-налево тростью... Все попятились назад друг на друга, а один за всех воззвал к вошедшему только что учителю, как к единственному общему их теперь защитнику:

— Богдан Карлыч, раделец наш! Скажи боярину, что мы-то тут не причинны...

— Эти-то все не виноваты, Илья Юрьевич, — подтвердил, выступая вперед, Богдан Карлыч. — Виноваты те двое, что ускакали вместе с разбойником.

— Да кто ж они, кто? Сторожившие его парни?

— Успокойся наперед, Илья Юрьевич. Сердиться тебе не здорово...

— Назовешь ли ты мне их, наконец! — заревел боярин и обвел кругом огненным взором, как бы ища, кого нет налицо.

И вот, когда взор его скользнул по Илюше, он вдруг сообразил, видно, что между присутствующими нет Юрия, нет и неизменного товарища всех его шалостей, Кирюшки. Лицо его перекосилось, на губах показалась пена и, как срубленный дуб, он грохнулся на пол.

В общем смятении один Богдан Карлыч не потерялся. По его распоряжению боярина

подняли и бережно перенесли в его опочивальню.

— Экий грех! Ведь любимчик его, любимчик, а с душегубом утек! — перешептывались вслед остальные.

Всех пуще сокрушался старый приятель Ильи Юрьевича, Пыхач. Малодушно уклонившись сперва быть переносчиком дурной вести, он ушел даже нарочно из дому прогуляться. Когда же, вернувшись с прогулки, застал своего благодетеля уже без памяти, то, мучимый, быть может, и угрызениями совести, предался искреннему отчаянию и не отходил уже от него, как верный пес от своего умирающего господина.

Сильно были потрясены, конечно, и дети боярина: Илюша и Зоенька, особенно последняя. С ней сделалось нечто вроде истерического припадка. Учителю-лекарю, хлопотавшему около родителя, было уже не до дочки, и всю заботу об ней принял на себя Илюша. Понемногу ему удалось-таки настолько ее успокоить, что девочка временами только тихо всхлипывала, вздрагивая своими узенькими плечиками.

Когда тут Богдан Карлыч вышел к ним наконец из боярской опочивальни, оба — брат и сестра — кинулись к нему навстречу.

— Ну, что, Богдан Карлыч? Он опамятовался? Ему лучше?

Богдан Карлыч с мрачной миной покачал отрицательно головой.

— Мозговой удар — *apoplexia cerebralis*.

— Но вылечить все же можно?

— Надеяться, милые мои, всегда должно, все в Божьей воле! Удар с ним уже во второй раз. Теперь вся правая сторона отнялась, отнялся и язык. В таком виде больной может протянуть еще много лет, буде не случится только третьего удара. Телесное сложение у него крепкое.

— Да неужели и ты ничего не можешь сделать, Богдан Карлыч? — вскричала Зоенька и, повиснув на руке лекаря, судорожно опять зарыдала.

— *Mein Kind, mein liebes, gutes Kind!* Бог делает чудеса, — старался тот ее утешить. — Я сам помню у нас в Лобенштейне такой казус: одна больная десять лет с лишним пролежала так в постели, не могла тронуть ни рукой, ни

ногой. Вдруг кричат: "Пожар! Горим!" Как услышала она, так с перепугу вскочила на ноги и бегом на улицу.

— И совсем выздоровела?

— Не совсем, но с того самого часа она стала все-таки опять ходить, могла даже вязать чулок.

— Но не поджигать же нам для батюшки дом...

— Понятно, нет. Это было бы и грешно, и глупо.

— Ведь с домом, Зоенька, могли бы сгореть и люди, — пояснил Илюша. — Но вот что, Богдан Карлыч, кабы чем-нибудь другим потрясти душу батюшки, не испугом, а большой радостью?

— О! Радость излечила бы его еще вернее. Да откуда ее взять-то!

— А ежели бы, примерно, Юрий вернулся вдруг домой?

— Сам от себя он не вернется, для этого он слишком упрям и горд.

— Так послать кого в погоню за ним, рассказать, что батюшка из-за него же помирает. Я-то наверно бы вернулся!

— И он тоже вернется! — подхватила Зоенька. — Право, голубчик Богдан Карлыч, пошлем кого-нибудь, пошлем!

— Гм... Der Gedanke is gar nicht so ubel... (Мысль вовсе недурна...) Да кого послать? Сам я отлучиться от больного никак не смею.

— И не нужно, оставайся, я за ним поеду.

— Ты, малыш? Господь с тобой!

— Я, Богдан Карлыч, не такой уж малыш, мне пятнадцатый год, и меня, брата, Юрий скорее послушает, чем кого другого. Право, я поеду!

— Нет, тебя-то, Илюша, я уже не пущу, ни за что не пущу! — воспротивилась теперь и Зоенька и обеими руками обхватила брата.

— Да пойми же, дурочка, что я вернусь вместе с Юрием.

— Нет, нет, ни за что!

— Так пусть, значит, Юрий пропадает? Пусть батюшка умирает?

— Господи, Господи! — убивалась Зоенька. — Да ведь ты-то, Илюша, там тоже пропадешь!

— Не пропаду. Я возьму с собой верного человека... Хоть бы Кондратыча, он Кирюшкой

только живет и дышит, из-за него он поедет хоть на край света.

— Да Бог с ним, с этим Кирюшкой! Он же, верно и подбил Юрия бежать. Что же ты молчишь, Богдан Карлыч? — воззвала девочка к учителю, стоявшему точно в раздумье. — Неужели ты все жепустишь Илюшу?

— Наугад этак, вестимо, не пустил бы, — отвечал Богдан Карлыч. — Скажи-ка, Илюша, что слышал ты от того Шмеля про атамана его Стеньку Разина? Где он теперь разбойничает? Все на Волге?

— Нет, Разин сколько времени уж за Каспием, в персидском царстве, но его, слышь, ожидают не нынче-завтра в Астрахани.

— В Астрахани? Будто сама судьба так решила!..

— Да что такое, Богдан Карлыч? Говори же, говори.

— Недалече отсель, на Оке, в селе Деднове, снаряжается царский корабль "Орел" на Волгу и Каспий...

— И будет, стало, тоже в Астрахани? Вот чудесно бы! Но ежели капитан не примет меня на корабль?

— Примет, мы с капитаном Бутлером старые приятели со школьной скамьи. Я дам тебе к нему рекомендацию.

— Да помнит ли он еще тебя?

— Помнит, я писал ему отсюда еще прошлой осенью в Амстердам, а нынче на Святой он отписал мне уже из Москвы, зазывал прокатиться летом вместе с ним по Волге до самой Астрахани.

— Но ты ничего не сказывал нам об этом?

— Не сказывал, ведь батюшку вашего это понапрасну бы только растревожило.

— А когда же корабль тот уйдет с Оки на Волгу? Богдан Карлыч хлопнул себя по лбу.

— Sapperment noch einmal!

— Что такое, Богдан Карлыч?

— Уйти-то он должен был уже в начале мая!

— Ну, вот, ну, вот, а сегодня 10-е число! Неужели я его уже не застаю?

— Не застанешь — воротись.

— Не говори об этом, Богдан Карлыч! Я сей же час еду...

— Но надо же тебя еще снарядить на дорогу, приготовить съестного.

— Ты сам, Богдан Карлыч, может, набьешь уж мне чемодан? А ты, милушка Зоенька, сбегай-ка на кухню, скажи, чтобы мне дали с собой съестного, — все равно чего. Я же лечу к Кондратычу и на конюшню...

Спустя какой-нибудь час времени у крыльца стояли уже три оседланных верховых коня: один для Илюши, другой для Кондратыча, а третий для подконюха Терехи как привычного ходить за лошадьми. За седлами Кондратыча и Терехи были прикреплены: у первого берестовый короб с разной снедью, а у второго Илюшин чемодан и сверху уже узел с подушками и иной дорожной поклажей. Так как, по пословице, береженого и Бог бережет, то Кондратыч счел излишним перевесить себе через плечо свой самопал с пороховницей, а за пояс заткнул охотничий нож. Тереха, не умея обходиться с огнестрельным оружием, предпочел "немудрящее" дреколье. Что же до Илюши, то он отказался от всякого вооружения, полагаясь на своих двух взрослых спутников, а паче на десницу Божию.

Перед самым отъездом, однако, на неопределенно долгое время ему хотелось в послед-

ний раз взглянуть еще на отца, поцеловать ему руку, хотя бы тот его и не признал. На этот раз Богдан Карлыч сам провел мальчика к его родителю.

Опочивален у боярина Ильи Юрьевича было две: зимняя и летняя. В летнюю он перебрался еще с первым весенним теплом. В противоположность зимней, низкой и тесной, это был покой в шесть окон в ряд и в "два пояса", впрочем, с такими же мелкими слюдяными оконцами. Главных украшений тут было два: во-первых, старинная, византийского письма икона в виде огромного складня, изображавшая четырех святых, по семейному преданию — четырех евангелистов. От времени лики до того потускнели и почернели, что различить можно было только общие их очертания, сделанные же под ними подписи разобрать было решительно уже невозможно.

Второй достопримечательностью летней опочивальни была кровать. Орехового дерева, необычайно массивная, она была, вместе с тем, тонкой резьбы, а резьба расцвечена красками и позолотой, ножки ее были сильно вы-

пуклы — "пуклисты" — и заканчивались золочеными орлиными когтями. Стояла кровать на расписанном красками рундуке, а сверху осенялась камчатным, "жаркого цвета" балдахином, утвержденным на четырех витых столбах и украшенным наверху небольшой человеческой фигурой — "персональной".

Больной находился в опочивальне не один, в ногах у него на рундуке сидел, пригрюнясь, Пыхач. Склоняясь головой на руку, он при входе Богдана Карлыча и Илюши даже головы не поднял.

Не заметил их и сам больной. Накрыт он был атласным "рудо-желтым" одеялом, а две пышные пуховые подушки его были обшиты кружевами. Тем резче среди окружающей роскоши выделялась покоившаяся на этих подушках жалкая старческая голова со включенными седыми волосами и бородой, с искаженным лицом. Как ни крепился Илюша, у него все-таки вырвалось невольное:

— Батюшка! Что с тобой случилось!

Застывшие в судороге черты старика остались неподвижны, закрытый правый глаз так

и не открылся. Только веко выпученного левого глаза слегка дрогнуло, сам же глаз по-прежнему был тупо устремлен в пространство.

Пыхача на рундуке внезапный возглас мальчика вывел из тупого раздумья. Он замахал рукой:

— Уходи, уходи!

— Юрий вернется, батюшка, он вернется! — продолжал Илюша. — Я сам сейчас еду за ним, привезу его назад.

Левый глаз Ильи Юрьевича гневно вспыхнул, левый угол рта судорожно раскрылся, и из груди больного вылетел хриплый стон:

— Не-е-е...

Тут Богдан Карлыч, не отходивший от Илюши, обхватил его вокруг плеч и насильно вывел вон. За дверьми ожидала их Зоенька.

— Ну, что, Илюша? Узнал он тебя? Сказал тебе что-нибудь?

Вместо всякого ответа брат порывисто обнял сестренку, и на щеку ее капнула горячая слеза.

— Богдан Карлыч! — обратился он к учителю. — У батюшки остается здесь теперь из

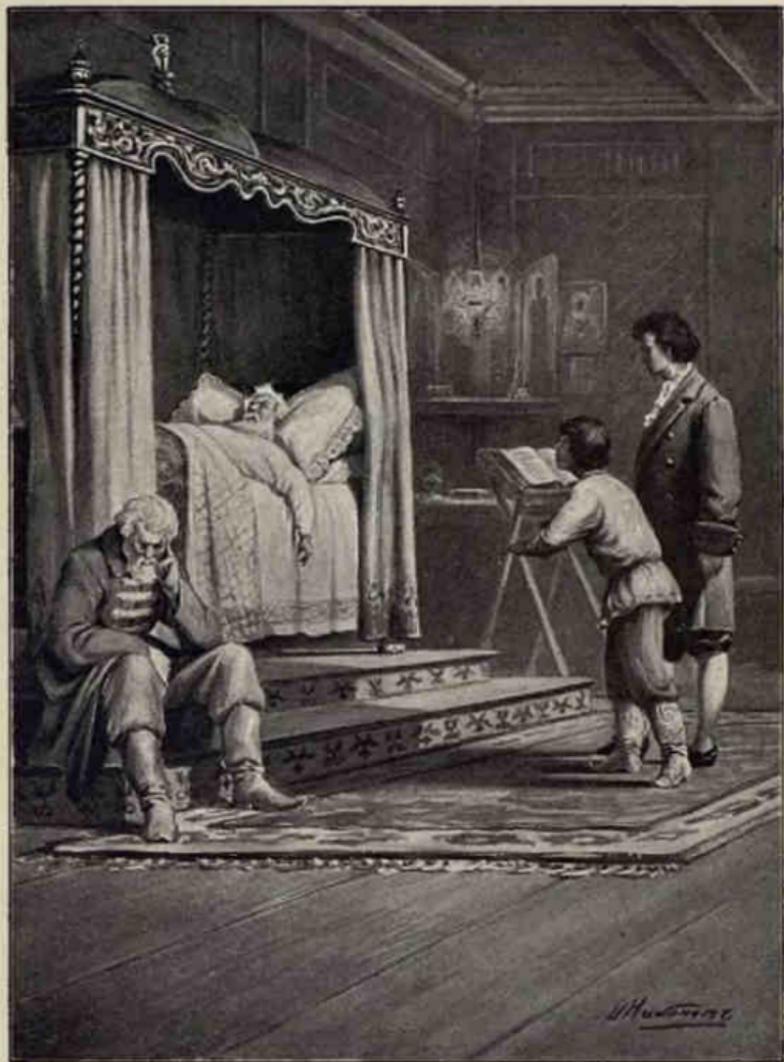
нас, трех детей, одна только Зоенька, дай уж ей ходить за ним.

— Ах, да, Богдан Карлыч! — воскликнула девочка. — А сам ты, Илюша, будешь давать нам тоже о себе весточки?

— Из больших городов — Нижнего, Казани — может, и будет с кем послать письмо, — сказал Богдан Карлыч. — Из других же мест — Бог-весть. Так вот что, мой друг: по пути ты увидишь всякие виды; чтобы не забыть виденного, да и поменьше тосковать, записывай-ка все, что увидишь примечательного. Я дам тебе для этого особую тетрадку.

— А потом ты нам ее вышлешь! — подхватила Зоенька с блестящими еще от слез глазами.

— Или сам ее привезу, — добавил Илюша, целуя ей глаза. — Вместе потом будем перечитывать.



— Батюшка! что съ тобой сталося!





Глава десятая ОТ ТАЛЫЧЕВКИ ДО АСТРАХАНИ

(Из дневника Илюши)

Дал мне наш Богдан Карлыч на дорогу тетрадку: "Записывай, мол, все, что будет примечательного". И начинаю я свою запись, благословясь, с сегодняшнего числа, мая 14-го дня, ибо вечер лишь добрался до царского корабля "Орел". А примечательного доселе было то, что из-за старика Кондратыча я чуть было не прозевал корабль, да еще и то, что, добравшись до корабля, остался на нем без своих провожатых.

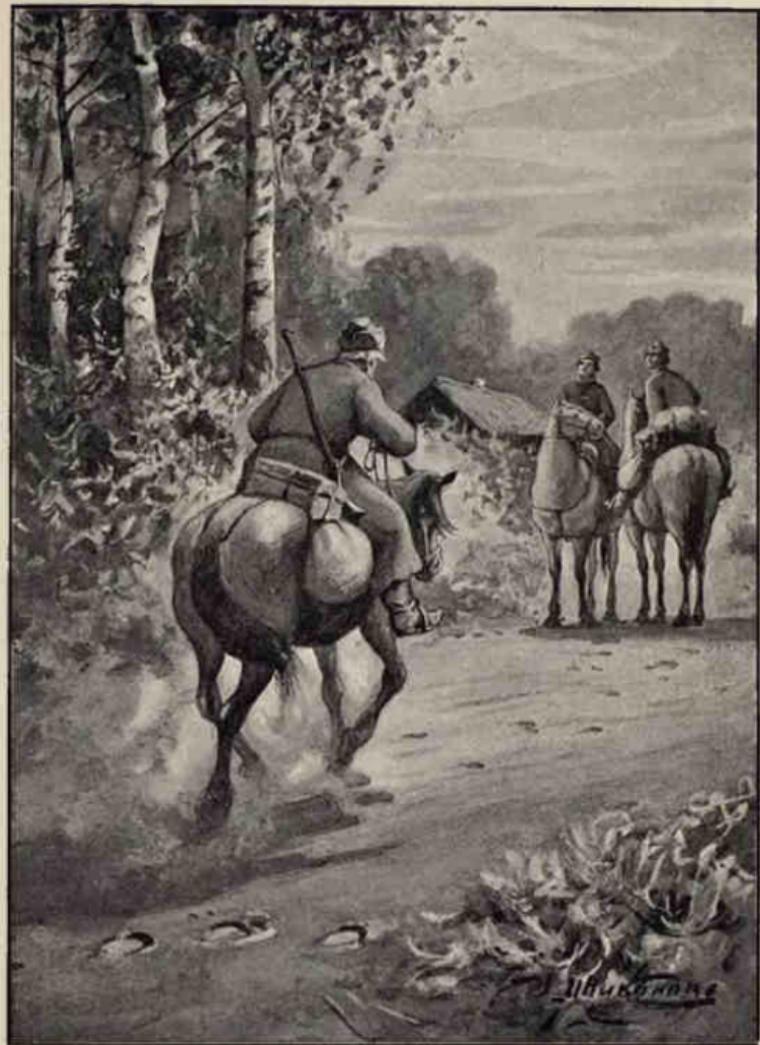
Было же дело так, что, выехавши из Талычевки, погнали мы с Кондратычем и Терехой скорой рысью, и гнали так до самой ночи, не измешкав нигде ни часу.

А притомив тут коней, заночевали в одной деревеньке.

А Кондратычу дорогой, знать, все суставы растрясло, и к утру крепко занедужилось. Да как стал его тут Тереха подсаживать на коня, заломило у бедняги таково в пояснице, что не смог он, сердечный, усидеть в седле. И заняли мы у мужика-хозяина телегу и подостлали соломки, чтобы старичку нашему мягче лежать было. Да проехавши этак час-другой, дальше ехать ему стало совсем невмочь, и заплакал он горько.

— Смерть, — говорит, — моя пришла! А как я тебя, касатик, одного-то без себя пущу? Ведь я, — говорит, — за тебя в ответе, коли с тобой, борони Бог, что неладное приключится.

И меня тоже, на него глядячи, слеза прошибла. Да делать-то было нечего, пришлось его покинуть на постоялом дворе. Мы же с Терехой, утерев слезы, пустились вперед еще резвей. А под вечер другого дня были мы уже



А Кондратычу дорогой всё суставы раскрясло...



на Оке-реке в селе Деднове, где должен был быть обретен нами корабль "Орел", да никакого корабля там не оказалось. И сердце у меня оттого ажио упало: корабль, зная, ушел уже без нас на Волгу! И стали мы допытывать про него у мужичков дедновских и допытались, что стоит-де корабль версты три ниже села, в глубокой заводи, а уйдет он на Волгу уже утречком, на самом рассвете. Стало быть, промешкай я хоть полдня только у Кондратыча — и не быть бы мне на Волге, и не вернуть бы Юрия! И поскакали мы с Терехой к той заводи, распустив поводья, во всю конскую прыть. А вон и "Орел", слава тебе, Господи!

А взошед на корабль, принес я капитану Бутлеру первым делом нижайший поклон от старого его приятеля Богдана Карлыча, по-немецки же сказать — от Зигфрида-Готтхельфа Вассермана, а затем подал ему и письмо. А прочитавши письмо, сказал капитан мне: "Добро пожаловать" и кликнул своего парусного мастера, мингера Стрюйса, и сдал ему меня на руки: "этот-де мне за тебя ответит", а Тереху и коней взять к себе на корабль наотрез отказал: "все равно-де от твоего парня ни-

какого проку на корабле не будет, а от коней тем паче". И, хошь не хошь, отпустил я Тереху с тем, чтобы присмотрел он за Кондратычем в его немочи, а потом, как тот малость оправится, в Талычевку бы его обратно предоставил.

А нынче раннею зарей снялись мы с якоря и пустились вниз по Оке-реке к Нижнему Новгороду.

* * *

Плывем мы который уже день мимо премногих сел и городов. А в одном селе, Никольском, купил мингер Стрюйс у бабы пару уток за копейку и понять не мог, как это баба еще выгоду при столь низкой цене имела. А города на Оке все неважные, мало чем от простых сел отличные. А в других городах — Переяславле да Рязани — видеть можно еще развалины от нашествия татарского.

А сам я пребываю в печали и скуке смертной, понеже весь экипаж на корабле, числом 20 душ, одни голландцы. А народ они работающий, сложа руки сидеть не любят: палубу моют, снасти чинят, да не в меру уж молчаливы. И капитан наш тоже болтать куда неохоч, ходит себе взад да вперед по палубе, смотрит,

всяк ли на своем месте, при своем деле, а сам жует свою табачную жвачку да через борт, знай, поплевывает. А как пристанем где под вечер к берегу, усядется он на корме со своими двумя помощниками: полковником ван-Буковеном и лейтенантом Старком, да еще с парусником Стрюйсом, заварят они на кипятку из романеи да сахару целый жбан горячего напитка по прозванию "грог" да распивают его в молчанку, уставясь друг на дружку.

А из всех-то людей на корабле один, почитай, лишь мингер Стрюйс со мной и водится, но велит звать себя не мингером, а попросту Иван Ивановичем, поелику по-голландски зовут его Ians Ianszoon, родовое же прозвание его пишется Strauss, а выговаривается Стрюйс. А знает он тоже изрядно по-русски, а того лучше по-немецки. И узревши меня однажды пригорюнившись в уголку за канатами, подсел ко мне, учал уговаривать, чего-де соскучился. И залился я от того уговору слезами горячими. И поведал он мне тут, что и сам-то в младости всякие тоже невзгоды и напасти претерпел. А родившись в городе Амстердаме от бедных родителей, с малых лет

еще юнгой на судах состоял. А подросши, дослужился сперва до помощника парусника, а так и до парусника. Да объездил он на судах разные моря и океаны, побывал в Италии, в Индии, в Японии, и всму, что видел, ведет тоже "юрнал", повседневную запись.[6] И разогнал он мою скуку-тоску всякой всячиной про чужие края, а также и про свой приезд в Москву. А первопрестольный град наш противу собственной их столицы Амстердама гораздо ему не показался. А прибыв в Москву со товарищами в январе месяце, застал он там оттепель, и в снегу они да в слякоти на улицах по колено утязали, и от великой грязи даже бабы в сапогах ходили. Тем паче умилились они, голландцы, сердцем, как в одном доме на окнах, точно у себя на родине, цветы в горшках узрели. И сказали им, что в недавние времена на Руси разводить цветы никому и на мысль бы не впало, да тишайшему царю нашему Алексею Михайловичу любо все благолепное и прекрасное, и вызвал он из чужих краев для своих царских садов искусника-цветовода, и с тех самых пор все московские бояре и вельможи за долг почитают цве-

ты у себя тоже разводить и семена для оных и луковицы из-за моря даже выписывать.

Да завел еще себе он, мингер Стрюйс, будучи в Москве, знатную удочку, да сжался, знать, надо мной, горемычным, подарил мне ее теперь, дабы мог я на стоянках рыбной ловлей позабавиться. И забавляюсь я, закидываю удочку, гляжу на поплавок, а сам все думаю-не передумаю о своих в Талычевке: что-то там с батюшкой, что-то с Зоенькой, с Богданом Карлычем? Да как вспомню еще про милого братца Юрия, что скитается не весть где по белу свету, — так сердце в груди и защемит, в очах от слез помутится... Какая уж тут рыбная ловля! Уйдешь под палубу и зароешься лицом в подушку.

А мая в 22-й день причалили мы к городу Касимову. А город тот и поднесь как бы татарский: живут там одни татары, и владеет ими молодой их царевич, князь Рескитский Василий Арасланович, а все же признает над собой верховную власть московского царя. И собрался в кремль княжеский капитан наш Бутлер с товарищами поклониться царевичу, и упросил тут капитана мингер Стрюйс взять с

собой и меня, чтобы посмотреть мне тоже, какой из себя этакий татарский царевич. Да не задалось! Отбыл, слышь, царевич со царицей-матушкой своей в Москву, на поклон к великому государю. А принял нас с почетом старший его царедворец и много нас угощал, мы же его отдалили за ласку табаком и иными гостинцами.

А мая в 24-й день, не доезжая города Муром, в большом селе Ляхи напросился к нам на корабль некий убогий чернец, "не для хлеба куса, а ради самого Иисуса", и дозволил ему капитан Бутлер ехать с нами безденежно на Волгу. А как на всем-то корабле, окромя меня одного, не было другой души русской, то стал он беседовать со мной. А спервоначалу речи его были все духовные, про житие праведников да про то, как душа человеческая, разлучась с телом, по всяческим мытарствам мыкается, как спорят из-за души грешника ангелы и бесы, на одну чашку весов кладут его добрые дела, а на другую злые: которые-де перетянут; и буде перетянут добрые дела, то светлый рай ему отверзится, а буде злые, то гореть ему вековечно в огне неугасимом. Да

приметив, что от тех речей я еще пуще духом пал, заговорил он со мной душевно, как с родным, и о мирских делах, велел называть себя отцом Амвросием. И полюбился он мне с того часу, будто и впрямь родной, и на душе у меня много полегчало.

А как доплыли мы тут до Мурома, рассказал мне отец Амвросий стародавний сказ про соименника моего, славного богатыря Илью Муромца. Жил тот богатырь близ Мурома, в селе Карачарове, сиднем тридцать лет, а собравшись на подвиги богатырские, подстрелил из лука на дубе лютого Соловья-разбойника, а подстрелив, привязал к своему седлу и повез в Киев к князю-солнышку Владимиру. Кабы мне тоже подстрелить этак разбойника Стеньку Разина да предоставить в Москву нашему великому государю-солнышку Алексею Михайловичу!

* * *

А июня в 5-й день увидали мы Нижний Новгород, первый после Москвы город во всем царстве московском. А лежит Нижний на превысоком берегу, и стекаются под ним две реки: Ока да Волга. А больше Волги нет

реки ни у нас на Руси, ни во всей немецине. И мингеру Стрюйсу, Ивану Иванычу моему, видеть такую реку даже за редкость было. И сказывал он, что в красе с Волгой может помериться одна лишь немецкая река Рейн: у Волги-де горист один правый берег, у Рейна же оба берега. Да не верится мне, чтобы могла быть река краше нашей Волги! Раскинулась она, матушка, под Нижним широко-широко, а вся круча над ней муравой, словно ковром зеленым, устлана, а на том ковре домики пораскиданы, а на самом-то верху кремль высится, — стена кремлевская белокаменная, зубчатая с башнями, а над стеной золотые купола соборные на солнышке как жар горят!

А построен кремль сей уже три века назад, а укреплен он ныне заново по повелению государеву. Ждут сюда снизу, вишь, из Астрахани немилых гостей — казаков Стеньки Разина, и засело против них в кремле войско сильное.

И ходили мы втроем — Иван Иваныч, да отец Амвросий, да я — по всему Нижнему, и дивился опять Иван Иваныч здешней дешевизне: рыбы на копейку дают столько, что го-

лодному не съестъ, а за аршин полотна самого тонкого берут копейку же. А вьют еще хорошо здесь канаты да веревки, и заказал их Иван Иваныч для наших двух судов немалую толику.

А поведал нам тут отец Амвросий, как вырос русский Нижний Новгород на земле племени чужеземного, мордвы, и отчего Русь мордву победила. Жил, по преданию, на месте Нижнего мордвин Скворец, товарищ Соловья-разбойника, и было у Скворца ни много ни мало восемнадцать жен и семьдесят сыновей. Да, состарившись, похотел узнать Скворец, что-то после него с сыновьями его станет. И пошел он к чародею Дятлу, и предрек ему Дятел, что ежели сыновья его будут жить меж собой в миру и ладу, то никакая сила вражья их не одолеет, и не будет конца их веку, и детей их, и внуков, и правнуков; ежели же станут злобиться друг на друга, враждовать меж собой, то придут русские и прикончат их. И сбылось все по сказанному, как по писанному. Умер Скворец, и стали сыновья его на пагубу свою враждовать меж собой, и пошел на них сперва русский князь Андрей Боголюб-

ский, а там и другие князья, и покорили русские мордву, и был заложен ими на угловой горе, где стекается Волга с Окой, крепкий кремль с каменной вокруг стеной. Да не устоял кремль против татарвы поганой, что жгла и разоряла русские города и веси. Тяжело тут стало жить нижегородцам. И много воды утекло, доколе не прогнали мы татар, и не объединилась святая Русь. И стал тогда Нижний для всей Руси оплотом, а в торговле первым. Отбивался он во времена великого смятения и от поднявшейся вновь мордвы, и от вора Тушинского. И замыслили тут поляки возвести на престол московский королевича своего Владислава, и обложили большим войском Троицкую лавру. И стеклись на площадь в Нижнем все граждане, и женщины, и дети, и возгласил Козьма Минин, муж праведный и великомудрый:

— Заложим, православные, жен и детей наших, продадим все имущество! На что оно нам, коли отчизна и вера наша гибнут!

И приносили граждане на площадь все, что у кого было, и собралась могучая рать с князем Пожарским и отбила врага от Троиц-

кой лавры.

И повел нас отец Амвросий в Спасо-Преображенский собор, где погребен Минин, и спустились мы из верхнего храма по лесенке в подземный склеп к самой гробнице Минина и поклонились его праху.

* * *

Июня же 11-го дня тронулись мы из Нижнего вниз по Волге-матушке. А берет начало Волга в Тверской области и течет до самого Каспия с лишком три тысячи верст. А сильна Волга своим плодородием, и уподобить ее можно разве только Нилу, реке египетской, и разливается она по весне от тающих снегов кругом на многие версты. И ширь ее тогда необъятная, и красота неописанная, и опрокинута в струях ее вся высь небесная, а затопленные роци по пояс в воде стоят и, как бы в зеркале, сами на себя любуются, не налюбуются. Где же сузят реку излучинами крутые берега, так к вечеру излучины алым заревом загораются, и курится пар огнистый от берега до берега над верхушками лесными. А смеркнется, так засветятся в темноте там да сям огонечки рыболовные. Да из темноты через

полреки свежим духом лесным вдруг как протянет — не надышишься! А вот где-то в чаще еще и соловей защелкал, а другой ему в ответ... И занает у тебя ретивое сладко таково и больно! Ведь и у нас-то, в Талычевке, есть тоже своя рыбная ловля, есть и леса зеленые, и соловьи голосистые; а опричь всего, и люди близкие, милые... Что с вами там, родные вы мои? Жив ли ты еще батюшка, не помер ли? Храни тебя всемилостивый Бог, продли твои дни, чтобы нам с Юрием еще застать тебя, собой обрадовать!

* * *

А июня 19-го дня пристали мы к большому поселению, Васильгороду. А омывается Васильгород рекой Волгой и рекой Сурой, и водится тут первая по всей Волге стерлядь, и зовется затем Васильгород столицей стерляжьей. А у каждой рыбы, сказывают, есть свой особый царь, а на Суре стерляжий царь, и живет он на самой глубине, и разукрашено его становище жемчугами и камнями самоцветными. А в полнолуние выплывает на берег царица стерляжья, красавица-русалка с рыбьим хвостом, золотым гребнем зеленые

косы свои расчесывает; а супруг ее, стерляжий царь, рядом с ней на камень садится, и венец его издали в лучах месяца звездой так и искрится. А осерчает когда на васильгородцев стерляжий царь, найдет он на них гибель водяную, — и тонут, погибают все суда речные. И сам знаешь ведь, понимаешь, что все то одни сказки-небылицы, а нет-нет и вздохнешь про себя, пожалеешь, что не дано тебе заглянуть хоть одним-то глазком в те подводные чертоги стерляжьего царя!

А за Васильгородом никакого жилья на много-много верст — ни по крутому правому берегу, ни по левому плоскому. А на крутом берегу темный бор шумит, а плоским берегом все зеленые луга без конца и края стелятся, и от трав луговых на всю реку словно благоухающей миррой пахнет. В траве же дергачи поскрипывают, а в поднебесье жаворонки колокольчиками звенят-заливаются. Чудно хорошо!

Жилья не видать, а все же, сказывают, живут там и сям тоже люди, только не наши русские православные, а финского племени — черемисы нагорные и черемисы луговые. И

народ они дикий и суровый. И нет у них ни попов, ни храмов, ни обрядов христианских. И ходят они в одежде из самого грубого холста, и не снимают ее дотоле, покуда сама от ветхости лохмотьями с плеч не спадет. А мужчины голову себе обривают, женатые — всю кругом, а холостые всю, окромя макушки, на коей оставляют длинный чуб. А женщины носят чепцы до самых глаз, а новобрачные еще середи лба рог в аршин длиной, на кончике же рога колокольчик на шелковой кисточке, дабы при звоне колокольчика всегда памятовали, что один у них отныне господин — муж.

* * *

А июня в 24-й день миновали мы устье реки Ветлуги. А на Ветлуге чернолесье дремучее, и про то чернолесье отец Амвросий много разных поверий и сказаний слышал. А всех больше мне по душе пришлось сказание про славный город Китеж.

Пришел с ордой своей на землю русскую безбожный царь Батый, и обложил он несметными полчищами город Китеж. И взмолились китежцы к Господу Богу, чтобы спас их

души от басурманов. И внял Господь их моление, скрыл из виду татарвы город Китеж, а на его месте заблестало озеро светлое — Светлый Яр. И не появится из воды город Китеж на свет Божий до самого дня Страшного Суда. Но тихим летним вечером, как выедешь в лодке на середину озера, где оно всего глубже, и заглянешь туда до самого дна, то увидишь там и избы бревенчатые, и терема белокаменные, и золотые маковки церковные. А сядет за лесом солнышко — и загудят под водой колокола китежские заунывным звоном.

А попадаются еще в берегах волжских преглубокие пещеры, ледяные и водяные, но никому доселе не довелось пробраться в них сквозь лед и воду. И в тихую погоду из тех пещер тоже словно шум доносится и говор будто бы от дикой мордвы, что схоронилась там от воевавшей ее во время оно христианской Руси, и сама мордва будто бы затопила себе водой все входы и выходы, и не дано уже ей, по изволению Божию, выйти оттоле до великого судного дня.

А городов после Васильгорода до самой Казани попалось нам еще три: Козьмодемьянск,

да Чебоксары, да еще Свияжск. А Козьмодемьянск древесными изделиями славится, в горах за городом много липы растет, и из липовой коры жители делают сани и коробы, а из самого дерева — всякую утварь домашнюю.

А Чебоксары супротив Козьмодемьянска вдвое знатнее: живет тут царский воевода, а при нем сильное войско для защиты от вольницы казацкой. И потребовал нас к себе воевода, чтобы показали ему свои грамоты, кто мы есть такие. А как про меня ни в одной из тех грамот не помянуто, то меня, раба Божьего, верно задержали бы, да спасибо Ивану Иванычу, нарядил меня на сей случай корабельным юнгой и выдал за своего родича из города Амстердама. И отпустил нас воевода с миром и дал нам еще с собой особого корабельного вожака — лоцмана до самой Астрахани. И засели бы на мели под Свияжском, кабы не тот искусный лоцман.

А про Свияжск больше и сказать-то нечего: городишко зело неказистый; по улицам пыль столбом, дышать нечем. То ли дело у нас на реке, дышишь всей грудью, не надышишься!

Да только и солнце не без пятен, как говорил, бывало, наш Богдан Карлыч, больно донимает нас на реке проклятая мошкара, особливо ночью: и в нос-то забирается, и в рот, и в глаза, и в уши. Сон тебя так и клонит, а заснуть — ну, никак не можешь! Ворочаешься с боку на бок, к рассвету разве уж задремлешь. А проснешься, глядь — все-то у тебя искусано: и лицо, и руки, и ноги! И смешно-то самому на себя, и досадно.

А в последний день июня с попутным ветром доплыли мы до реки Казанки и, поднявшись вверх по реке, бросили якорь у самого города Казани, столицы царства казанского. А шли за нами следом многие малые суда, и налетел тут внезапный вихрь, а иные из тех суденышек на наших глазах опрокинуло, и немало людей с них потопило. Упокой, Господа их грешные души!

А наутро сошли мы на берег отдать поклон казанскому воеводе, князю Трубецкому, и принял нас князь весьма милостиво. А спустя два дня и сам на корабль к нам пожаловал в соупутствии преосвященного владыки, митрополита казанского, и было им от нас предло-

жено знатное угощение. А поглазеть на наш корабль было народу великое стечение — русских и татар, ибо столь большого судна в Казани дотолѣ еще и не видано. И торговлю в Казани издавна ведут все татары, да еще черемисы, и, добро, торговали бы одними товарами, а о продают, безбожники, и родных чад своих, по 20 ефимков[7] за ребенка!

А было царство казанское некогда татарское, а ныне оно русское. Основал же город Казань еще царь Батый, и замыкала Казань русским вход к реке Каме и к низу Волги. И делала отселе татарва разбойничьи набеги на святую Русь. И ходили русские не раз войной на казанцев, да взять Казани не могли. И собрал тогда грозный царь Иван Васильевич великую рать у города Свияжска и послал сказать казанцам, чтобы без боя сдались. И отвечали казанцы:

— Пир готов, осударь; пожалуй на пир!

И осадила тут русская рать город со всех сторон и выжгла землю окрест на полтораста верст.

А брали казанцы воду для питья из родника под крепостью и пробирались туда потай-

ным ходом. И велел царь взорвать порохом тот потайной ход, и ворвались наши в пролом, да отбились от них татары, завалили пролом камнем и не сдались. Было же взято нами в том бою много пленных, и пригнали их наши под самые стены, и грозили всех перебить, коли город не сдастся. И татары со стен сами же перебили стрелами тех пленных своих родичей и не сдались.

И крепко осерчал тут Грозный царь, назначил великий бой на 2-й день октября (1552 г.) и послал сказать татарам в последний раз, чтобы била челом, и он их помилует. И отвечали татары:

— Не бьем челом, лучше все смерть приемем!

И вошло утро 2-го числа октября, утро светлое и ясное. И отстоял царь в походной церкви заутреню, и все воинство вместе с ним молилося о даровании победы над нехристями, и были отпущены всем перед смертным боем их прегрешения. А были подведены под стены города новые подкопы, и зажгли тут в подкопах фитили к бочкам с порохом, и обрушились башни и стены, и

пошло все наше воинство сразу на приступ с знаменами, с трубами, бубнами и барабанным боем.

И кричали татары с обрушенных стен:

— Алла! Алла!

И палили на наших из пушек, и осыпали их сверху стрелами, и камнями, и бревнами, и обливали их кипящим варом. И началось тут кровопролитие великое, ад крошечный... И перешла победа на сторону Руси, и завяли знамена христианские над твердыней басурманской. И возвели тогда татары царя своего Едигера на превысокую башню и крикнули русским:

— Было у нас царство, и бились мы за него до последнего. Не стало царства — так берите ж и нашего царя, а сами мы идем к вам в поле испить последнюю чашу!

И спрыгнули последние бойцы татарские, шесть тысяч человек, с крепостной стены, и переплыли реку Казанку к русским, и сложили там головы до единого.

Так кончилась Казань татарская и стала Казань русской.

Да сложена народом русским особая еще

песня-бывальщина про взятие Казани Грозным царем, и слышал ту песню отец Амвросий от некоего слепого старца, калики пережожего, но сам-то, жаль, запомнил лишь одно место песни, как подводились нашими под город подкопы "с лютым зельем — черным порохом" да "затеплились свечи воску ярого".

*А татарки по стене похаживают,
Грозного царя подразнивают:
— Как не взять тебе Казань-город
ни во сто лет.
Как ни во сто лет и ни во тысячу.
Догорели свечи воску ярого,
Принимались бочки с черным порохом,
Раскидало-разметало стену каменную,
Побросало в реку всех татаришек.*

А из всех-то татарских башен времен Грозного до наших дней уцелела одна лишь башня Сумбекова от мечети мусульманской. А выстроена башня в семь ярусов, высотой в тридцать пять сажен, а по низу в окружности верста целая. И поднялись мы с отцом Амвросием да со сторожем-татарином, что пристав-

лен к башне, до верхнего яруса, да как огляделись тут кругом — глаза разбежались, весь-то город в глубине будто на ладони лежит, стеной каменной зубчатой ощетинился, двумя реками, Волгой да Казанкой, опоясался.

А названа та башня Сумбековой по последней царице казанской Сумбеке. Как пала Казань, не смогла Сумбека пережить того позора, взошла сюда, на самую верхушку башни, да кинулась вниз головой — и разбилась, знамо, до смерти. И, рассказывая нам про то, сторож-татарин слезы глотал, рукавом халата глаза себе утирал, ажио и меня по той Сумбеке жалость взяла.

* * *

А июля в 6-й день, нагрузивши на корабль свинцу для воеводы астраханского да запас сухарей для нас самих на весь путь, отошли мы от Казани, а в 12-й день добрались до устья реки Камы, главного притока Волги. А ловят тут в устье Камы-реки рыбу пеструшку, по-немецки форель, и не мог нахвалиться ей Иван Иваныч, такой-де вкусной форели ему и у себя в Голландии есть не доводилось. А ловят пеструшку-форель на живую приманку —

мелкую рыбушку, и в четверть часа времени наловили при нас рыбаки две большущие корзины и продали нам весь улов.

А говорил нам один старый рыбак, что Волга да Кама — две родные сестры; бежит каждая сестра сама по себе издалека-далека, да как встретились тут, так крепко обнялися и бегут, этак обнявшись, дальше, до самого уж Хвальнского моря, сиречь до Каспия.

* * *

А пониже Камы лежит мордовский город Тетюши. А было тут некогда царство болгарское, и увел сюда в плен один хан болгарский молодую княжну русскую. И стала княжна его любимой женой. Да не хотелось ей ни за что принять его поганую веру, денно и ночью бедняжка все только молилась да плакала, доколе Господь ее не прибрал. И побежал от тех слез ее ручей студень, и по сю пору бежит он, журчит, а в чаще лесной, как прислушаешься, словно кто-то плачет и стонет.

* * *

А июля 13-го увидали мы развалины старого городища Симбирска, что был разрушен еще татарским царем Тамерланом. А два-

дцать лет назад по приказу государеву около тех развалин выстроен новый уже кремль обороной от понизовой вольницы и иных шатущих людей, чтобы снизу в Русь не прошли и дурна бы не учинили.

А за сильным ветром простоял корабль наш на якоре у Симбирска трое суток, и гуляли мы с отцом Амвросием по берегу и по окрестным местам. И попался нам на одной горе огромный камень, весь мохом поросший, а под тем мохом узрели мы на камне будто некую надпись. И соскребли мы мох с немалым трудом и разобрали надпись. А было там начертано, что буде кто сможет сдвинуть сей камень с места, то найдет под ним свое счастье. И пытались мы двое сдвинуть камень, да нет, куда! И позвали мы тогда с корабля на подмогу себе Ивана Иваныча, да еще трех матросов, и, все разом понатужась, повернули-таки камень. И не оказалось под камнем никакого клада, а была только другая надпись: "Пустым речам не верь". То-то было смеху! И сказал тут отец Амвросий, что не в деньгах счастье; а Иван Иваныч сказал на то, что и в деньгах тому счастье, кто расходует

их с толком, да не ищет их под камнями, а добывает честным трудом, как вот симбирские рыбаки.

А рыбные промыслы под Симбирском, да и по всему низу Волги, по весне все более учужные: поперек реки забивают учуги — частокотлы, чтобы задержать ход красной рыбы, и, задержав, ловят ее неводами. А зовется красной рыбой стерлядь, осетр, белуга, севрюга, а чистяковою — вобла, по-нашему плотва, да еще бешенка, тарань; этих только на жир топят.

[8]

А другой еще есть промысел на низу Волги — добыча соли. И та соль, как и рыба, первее всего добывается для государева двора, а какая еще за царским обиходом останется, ту уже на Москве и в прочих городах по вольной цене продают всякого чина людям.

А на четвертые сутки ветер малость стих, и, наставив паруса, тронулись мы дальше. А от города Симбирска книзу Волга еще больше ширится, а берега ее еще выше, леса гуще, и от той глуши беспросветной кругом сама Волга-матушка из себя еще раздольней кажет.

А вот справа издали забелели на солнце

меловые крутояры; только самые гребни муравой, словно бахромой зеленой, окаймило. А дальше по обеим сторонам опять пошли горы да горы, горбатые бугры — бугор за бугром, да кручи утесистые, будто стены зубчатые с башенками, а промеж круч буераки глубокие, и все-то: бугры, и кручи, и буераки — сверху до низу дикой чащей сплошь обросло, как мохнатой шерстью. И куда уж красиво, и сурово, и страшно! А всего краше и страшнее до жуткости в Жигулевских горах. Кругом ни души человеческой, одни лишь черные бакланы на отмелях сидят, да белые бабы-птицы добычу себе зорко высматривают. И чудилось мне, что за этими буграми и в буераках такие ж хищники, удальцы поволжские, хоронятся, живую добычу себе тоже подсматривают, да вдруг как выплывут из-за утеса на легких своих лодочках и крикнут нам во всю голову:

— Сарынь на кичку!

С нами крестная сила! Пронеси нас, Господи! Волос на голове дыбом, а по спине мурашки...

Да нет, все тихо. Вон под кручей и избенка рыболова; сам он с женой сети на шестах раз-

вешивает. Бояться, значит, нечего, или, может, оттого и страху у них нет, что взять с них нечего?

* * *

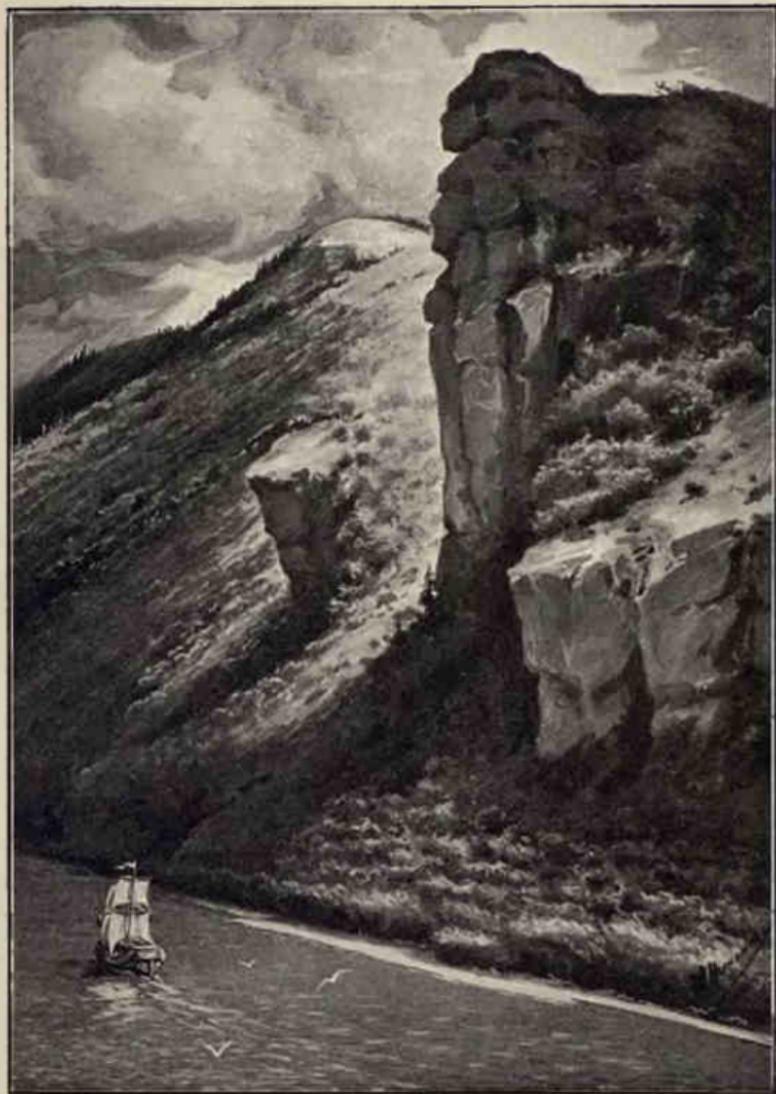
А июля 28-го дня обогнули мы остров Кистоватый. А упреждали нас еще в Казани, что течет по тому острову речка Уса, и что где таковая втекает в Волгу, там проходящие суда, бывало, поджидает вольница понизовая. Буде же какому судну и удастся проскочить мимо их стоянки, то казаки свои лодочки переволакивают через луку речную[9], и перехватывают судно ниже луки.

Сказывали, правда, что удалый атаман казачий Стенька Разин со своей шайкой не вернулся

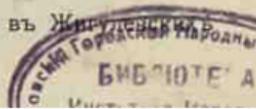
еще на Волгу с Каспия, а все ж таки под устьем реки Усы всем нам жутко стало. Отец Амвросий неустанно читал молитву, а голландцы, сам даже капитан наш Бутлер, с опаской озирались.

Да уберег нас Господь, никто нас не тронул, вздохнули мы все вольнее.

И припомнился тут отцу Амвросию про устье Усы-реки еще такой сказ. Рос тут могу-



А всего краше и страшнѣе до жуткости въ Жигулевскихъ
горахъ.



чий дуб, и был под тем дубом потайной ход в подземелье двенадцати сестер-богатырок. И выходили те богатырки из подземелья биться с татарвой, и не нашлось такого витязя татарского, что справился бы с ними. А случилось раз прийти со святой Руси старцу-каликe перехожему. Был старец бел как лунь и ростом совсем не вышел: от щелчка, кажись, повалится. И смех взял богатырок на такого витязя гляючи, и биться с ним им за обиду показалось. И говорит тут меньшая богатырка:

— Дай-кась уж я, так и быть, поборюсь с тобой, старче, потешусь.

И вышла к нему на борьбу. А старец поднял ее с земли, как дитя малое, и на траву сложил. И раззадорились тут прочие богатырки, выходили одна за одной к нему на борьбу, и всех-то подряд старец точно так же поборол. И диву дались богатырки, спрашивают:

— Скажи ты нам, калика перехожий, ведь ты, чай, самый что ни есть сильный богатырь на Руси?

И молвил в ответ им старец-калика перехожий:

— Какой уж я богатырь! Ослабел я на ста-

рости лет, никуда не пожушь! Вот придут после меня настоящие русские богатыри — ничего-то от вас, богатырок, не останется; только в песнях разве поминать вас будут.

И нашла на богатырок грусть великая, что удальству их конец пришел.

И увидали мы тут вскоре песчаный Царев курган, что по-старинному означает "царская могила", и поведал мне также отец Амвросий, откуда название то пошло.

В незапамятные времена воевал святую Русь неведомый царь. И пожелал он оставить по себе память на веки вечные. И повелел каждому своему воину снести по шапке земли в одно место. А рать была несметная, и вырос из тех малых кучек земли преогромный холм — Царев курган. А покорив Казань, побывал наш грозный царь Иван Васильевич и на том Царевом кургане, и зависть его взяла, что неведомому басурманскому царю такая вековая память. И повелел он своему воинству снести курган шапками ж. И унес каждый воин с кургана по полной шапке земли, да снесли они только верхушку холма, и стоит Царев курган, словно бы нетронутый, до

днесь.

* * *

А июля 29-го дня подошли мы к городу Самаре. А лежит Самара на крутом повороте Волги — Самарской луке, а строения в Самаре все-то деревянные, одни церкви лишь да монастыри из камня сложены. А за Самарой — степь неоглядная, и живут в той степи татары и калмыки, на траве степной разводят табуны конские, а из кобылья молока готовят особое похмельное питье — кумыс; да крепко, слышь, тот кумыс помогает слабосильным людям, особливо кто грудью страдает. А жить в степи, я чаю, зело скучно: провожал нас по степи татарин, да как затянет заунывную песню, так тянул уже, тянул без конца.

— Замолчи ради самого Аллаха! — говорю я ему. А он:

— Пошто?

— Да всю душу мне нытьем своим вытянул! Покрутил он головой, а не замолчал, замурлыкал уже только тихонько про себя.

* * *

А августа в 3-й день миновали мы Змиеву-гору; а названа гора так затем, что води-

лись там некогда бессчетно змеи-чудища. Да явился некий русский богатырь и всех их порубил. А был то, думает отец Амвросий, не кто иной, как славный богатырь киевский Добрыня Никитич, что одолел и поганую Змея-Горыныча.

* * *

А августа 4-го дня прибыли мы в город Саратов. Невелик город Саратов, а воинства в нем большое множество, чтобы окружных калмыков в послушании держать.

А с виду те калмыки всех людей безобразней: лицо широкое, скуластое, глаза скошенные, рот до ушей, а нос столь приплюснутый, что, глядя издали, и вовсе его не видать. А ездят калмыки всегда верхом, с луком и стрелами, и ездоки они весьма лихие, и стрелять из лука куда горазды. А кочуют они по степи с места на место, где обильнее корм для их лошадей и верблюдов и рогатого скота; а мясо всего охотнее едят они лошадиное и кладут его себе под седло, чтобы мягче стало. А воюют они в степи с такими же кочевниками, как сами, ногайскими татарами, отбивают у них скот, жен и детей, а ногайцы — у калмы-

ков, и отбитое те и другие продают потом на рынке в Астрахани.

* * *

А августа 6-го дня прошли мы мимо речки Камышенки. А речка сия тем замечательна, что ею с Дону пробрался разбойничать на Волге Стенька Разин со своими молодцами. И хоть заложен тут ныне на крутом берегу по повелению государеву городок Камышин, да обходят они Камышин хитростью, нагружают свои легкие лодочки на телеги и везут их на Волгу пониже Камышина.

А августа 7-го дня разыгралась на реке погодка, и стали мы на якорь у города Царицына. А укреплен Царицын тоже каменной стеной с башнями и бойницами на отпор татарам и казакам. И не сошел я на берег за проливным дождем. А отец Амвросий отлучился в город повидать в монастыре знакомого чернеца. Да вернувшись на корабль, объявил, что сма-нил-де его тот знакомец остаться у них совсем на житье в монастыре, и что пришел он лишь обняться, проститься со мной в последний раз. Обнимает, а у самого по щекам слезы так и текут: привязался, знать, то-

же ко мне. А я того пуще еще заливаюсь: за лето-то стал он мне как бы совсем родной.

— На кого ты меня оставляешь! — говорю, а сам обхватил его за шею, не хочу от себя пустить.

— Мингер Стрюйс тебя не оставит, — говорит, — а в Астрахани не нынче-завтра родного братца своего обретешь. А теперь, — говорит, — дай-кась с распрощаться и со всеми мингерами, поблагодарствовать.

И вот нет уже его с нами, и стало вдруг пусто таково на корабле!

Второй день уже, что отошли мы от Царицына, а все не хватает мне еще отца Амвросия, не с кем по душе словом перемолвиться. Заговаривает, правда, опять ласково со мной Иван Иваныч, да все ж он иноземец, мингер, а не свой брат, русак.

Сама Волга-матушка с Царицына словно осиротела, обездолилась — и не узнать! Берега низкие, пустынные: левый — зеленый, правый — песчаный, но ни бугров, ни утесов, ни лесов, ни жилья человеческого. На желтых мысках да отмелях одни лишь бакланы да бабы-птицы расхаживают, кулички попрыгива-

ют.

А бакланы — те же рыбаки поволжские: оцепят целой стаей бухточку, ныряют и загоняют рыбу к берегу, а прочая мелкота птичья кругом порхает, да объедки бакланьи подхватывает, что собаки со стола хозяйского.

* * *

А августа в 11-й день подошли мы к крепости Черному Яру. И был тут допреж того пригон казачий, и нападали отселе казаки на речные караваны. А ныне здесь на крутояре за деревянной стеной сколько жителей, столько ж и царского войска. А видеть-то наверху нечего. Вниз же на реку взглянешь — все те же песчаные отмели, а на отмелях те же бакланы, да бабы-птицы, да еще воронье, по-здешнему карга. Тоска!

* * *

А августа 13-го дня вдруг морем запахло. По сторонам же только зеленая камышовая стена: справа камыш и слева камыш. Но тут, глядь, за излучиной вдали и кровли замелькали. Ужели наконец-то Астрахань! Сердце так и забилося, будто из груди выскочить норовило. И глядит на меня Иван Иванович, спра-

шивает:

— Что это с тобой?

— Да ведь это, — говорю, — Астрахань?

— Астрахань.

— А в Астрахани я найду брата!

— Э! Когда-то еще нас с тобой туда пустят.

— А почему же не сейчас?

— Наперед, — говорит, — мы пальбой оповестим о себе астраханского воеводу в урочный утренний час, потом воевода, когда еще за благо найдет, пожалует на наш корабль, и тогда уж дозволит сойти на берег.

Я и нос опять повесил. А сказал-то Иван Иваныч правду. Отдали мы наутро городу привет пушенною и ружейною пальбой, одиннадцать раз грянули из пушек, да три залпа дали из ружей. Пропустить-то нас пропустили мимо города на взморье, да вот стоим теперь третий день уже на взморье, а воевода и сам-то к нам не жалует, и повестки от себя никакой не присылает. А Стенька Разин, сказывают, со своей вольницей казацкой по берегам окружным шибко опять пошаливает. И все-то мы на корабле трепещем злодеев, ни днем, ни ночью не знаем покою: как нагрянут

душегубы, так всех нас, того гляди, пере-
бьют... А милый братец мой Юрий там же
ведь, с ними! Боже все милостивый! Охрани
его, дай мне найти его здоровым и невреди-
мым, да просвети его разум, чтобы внял он
мне и дал вырвать себя из когтей дьяволь-
ских!

Глава одиннадцатая АСТРАХАНСКИЕ ВОЕВОДЫ И ВОЛЬНИЦА КАЗАЦКАЯ

Дождались нагни путники посещения ко-
драбля их старшим астраханским воеводой,
князем Иваном Семеновичем Прозоровским,
на четвертый уже день своей стоянки на
взморье в виду Астрахани. Прибыл воевода
вместе со своим товарищем, вторым воево-
дой, князем Семеном Ивановичем Львовым, и
в сопровождении стрелецкого конвоя. Когда
воеводский баркас причалил к кораблю, ка-
питан Бутлер встретил почетных гостей у
штуртрапа (веревочной лестницы с кормы), а
по обмену взаимных приветствий, предста-
вил им и своих старших подчиненных: пол-
ковника ван Буковена, лейтенанта Старка и
парусного мастера Стрюйса. Представлять им
теперь же стоявшего в сторонке Илюшу он,
очевидно, считал неуместным.

Илюша, со своей стороны, не спускал глаз
со старшего воеводы, от которого, быть мо-
жет, зависел весь успех его поисков за бежав-

шим братом. Князь Прозоровский был сухощавый старичок, довольно уже хилый, с отвислой нижней губой. Но, как бы сознавая свою старческую немощь, он то и дело приосанивался, упираясь на свою толстую трость с золотым набалдашником, и втягивал в рот непослушную губу, которая, однако, вслед за тем опять выпячивалась. С той же, видно, целью — казаться моложавее — он выбрал себе праздничный наряд чересчур даже пестрый: ярко-алую фэрязь, обшитую золотыми позументами, с высоким воротником, усаженным крупным жемчугом, оранжевый колпак с жемчужными же пуговицами и сапоги светло-зеленого сафьяна.

"У, какой важный! — подумал Илюша. — От него помощи уж не жди!"

Но он ошибся.

Сделав каждому из представляемых ему лиц два-три вопроса, Прозоровский, прищурясь, огляделся кругом и остановил взор на Илюше, который своим великорусским типом довольно резко отличался от окружающих голландцев.

— Подойди-ка сюда, малый. Ты никак рус-

ский? Сказано это было так благодушно и приветливо, что Илюша тотчас почувствовал безотчетное влечение к старичку, очевидно, напускавшему только на себя важность, приличествовавшую его воеводскому званию. От сердца у мальчика сразу отлегло, и он отвечал бойко, что он — сын боярский и приехал в Астрахань за своим старшим братом.

— А родитель твой еще жив? — продолжал Прозоровский свой допрос.

— Жив, но лежит при смерти.

— Так как же ты его, умирающего, покинул? Эй, эх! Не дело это, милый ты мой, не дело.

— Не убежал ли он из родительского дома? — заметил вполголоса второй воевода, князь Львов.

— Нет, я-то не убежал, ей-Богу, нет! — поспешил уверить Илюша, и все лицо его залило густым румянцем.

— А что же ты покраснел?

— Постой, князь Семен, — остановил своего нетерпеливого товарища Прозоровский. — Ты его запугаешь. Так что же, дружок, говори чей ты сын-то?

— Сын я боярина Талычева-Буйносова, — отвечал Илюша.

— Талычева-Буйносова? То-то, вишь, лицо твое мне сразу словно знакомым показалось! А по имени и изотчеству как твоего батюшку звать-то?

— Илья Юрьевич.

— Илья Юрьевич?.. Так покойный Юрий Никитич, пожалуй, дедом тебе доводился?

— Родным дедом. Только скончался он еще тогда, когда меня самого и на свете-то не было.

— Так, так. С дедом твоим (царство ему Небесное!) мы с юных лет ведь хлеб-соль водили. И сам ты лицом, как погляжу, совсем в него пошел.

Львов наклонился к уху своего старшего соначальника и стал ему что-то нашептывать.

— А у меня и из памяти вон! — отвечал ему вслух Прозоровский. — Воля государева! Провинился, ну, и несет заслуженную кару. Да сынок-то ведь в том не причинен.

— Яблочко от яблони недалеко падает.

Тут вступился за Илюшу капитан Бутлер,

объяснив на своем не совсем правильном русском языке, что мальчик этот — добрый, и ищет он своего пропавшего старшего брата, но что это — целая Одиссея, которую стоя не дослушать, а потому не угодно ли сесть за стол.

Накрыт был стол на палубе же, а от палящего солнца защищен парусинным наметом. Вевший с моря ветерок также умерял еще полуденный зной. Пока оба воеводы угощались за столом обильной снедью и запивали ее не менее обильным питьем, отечественным и иноземным, Илюша должен был повествовать им историю бегства его брата. Сделал он это с откровенностью неиспорченной молодости, не утаивая ни одной существенной черты.

— Неладно, дружок, неладно! — произнес Прозоровский, морщась и втягивая отвисшую опять нижнюю губу. — Зело ты еще млад и зелен...

— Так неужто ж мне было дать погибнуть брату! — оправдывался Илюша.

— Да нам-то что теперь с тобой, прыгуном, делать? Ведь с Разиным у нас счеты еще не

покончены...

Тут в разговор вмешался снова капитан Бутлер. Ему-де велено царем идти Каспийским морем в Персию, так можно ли ему ныне же пуститься туда без опаски попасть в руки разинцев.

Прозоровский вопросительно посмотрел на своего товарища.

— Твое мнение-то какое, князь Семен, а?

— По-моему, — отозвался Львов, — отвечать за такого хитреца и мудреца, как этот Разин, никто не может. Кто его ведает, что у него опять на уме! Ты, господин капитан, не выходил ведь еще у нас на сушу, так, может, не слыхал еще про его последние бесчинства и злодейства?

На отрицательный ответ Бутлера Львов передал ему с разными мелочными подробностями следующее:

— Гуляя сперва со своей удалой ватагой на легких казацких стругах по Кавказскому побережью Каспия, Разин всячески разорял прибрежные аулы кавказцев: жег, грабил, резал, забирал пленных, а потом продавал их в неволю на персидских рынках. Добравшись

так до персидского города Решта, он перед тамошним правителем, Будар-ханом, прикинулся "казанской сиротой" и бил челом — пропустить от него трех послов в Испаган: не примет ли его шахское величество их, казаков, в свое подданство и не наделит ли землею?

Любо пришлись такие речи Будар-хану: молва о зверствах разинцев давно дошла уже до его ханских ушей, а вот теперь сам же атаман их перед ним распинается, просит его предстательства перед шахом. Пропустил он трех послов казацких в Испаган. Но оставшиеся на ту пору со своим атаманом в Реште волки в овечьей шкуре не дождались их возврата, принялись за прежнее: гульбу и бражничанье со всяким безобразием и озорством, разбивали винные погреба, опивались до бесчувствия. Накинулись тут персияне на молодцов, кого перевязали, кого пристукнули. Кликнул клич атаман; кто еще не совсем обеспамято-вал — стал отбиваться; скучились вокруг атамана, бросились с ним к своим стругам — и в синее море. Стал тут Стенька пересчитывать своих товарищей — четырехсот не

досчитался. Зло взяло его, и принялся он снова разбойничать по побережью, громить и шаховы дворцы, и "трухменские" (туркменские) улусы, дуван же дуванил на своей стоянке — Свином острове.

Крепко разгневался на Стеньку шах персидский, снарядил семьдесят судов, посадил на них четыре тысячи ратников и повелел астаранскому Менеды-хану ударить всей той силой на Свиной остров. Да дорого поплатился за то Менеды-хан: всю рать его без малого казаки перестреляли, либо полонили, суда же которые захватили, которые потопили. Из семидесяти судов спаслось всего-навсего три, да на одном из них сам Менеды-хан; сын же его да дочь-красавица, что были тоже на одном судне, так и остались в руках казаков.

Было то всего с месяц назад, а тут прибегают люди с митрополичья учуга, что в самом устье Волги, плачутся, что нагрянули на учуг казаки со Свиного острова, забрали рыбы, икры, вязиги, всяких рыболовных снарядов, а сами опять в море.

Еще через день бежит в приказную избу купец персидский Мухамед-Кулибек, рвет се-

бе бороду, слезно жалуется. Вез он на двух бусах¹ от своего повелителя, шаха персидского, московскому государю бесценный подарок — трех бесподобных аргамаков; а казаки, на то невзирая, захватили обе бусы с аргамаками, со всеми его собственными товарами, мало того, забрали в полон и его родного сына, Сехамбета, требуют за него выкуп пять тысяч рублей.

При перечислении Львовым всех этих разбойничьих подвигов Стеньки Разина с его шайкой лицо капитана Бутлера принимало все более озабоченный вид. Прося извинить его за неведение русских порядков, он выразил удивление, почему господа воеводы все это терпят. Младший воевода взглянул исподлобья на старшего и пожал плечами.

— Я-то, признаться, давно бы с ним прикончил! Да вот князь Иван по долготерпению своему не токмо не противоборствует злодеям, а еще их ублажает.

— И впредь приложу все свои тщания, дабы мирным образом их от дальнейших злодейств отвратить, — отозвался Прозоровский. — Мало ли безвинной крови и так уже

пролито! А как припугнули мы их хорошенько нашей воинской силой, так ведь с того самого дня жалоб на них уже и нету.

— Так все же припугнули? — заинтересовался Бутлер.

— После того, что забрали они и царских аргамаков, оставить дело так было нельзя. Посадил князь Семен четыре тысячи стрельцов на тридцать шесть стругов и пустился в море в погоню за разбойниками, гнал за ними целых двадцать верст...

— Да что толку-то! — со вздохом возразил Львов. — Кабы ты не дал мне еще с собой для них пропускной грамоты...

Буса — персидская долбленая лодка.

— Да как же им без таковой грамоты пройти на родной свой Дон?

— То-то вот, что теперь они наперед уже знают, что за все содеянное никакой кары им не будет, лишь бы убралась восвояси.

— Но неужто ты, князь Семен, сам же ту грамоту и отвез им? — удивился Бутлер.

— Ну, нет, много чести! Послал я ее вдогонку с моим полномочным Никитой Скрипицыным. Отдал Скрипицын грамоту в руки ата-

ману и говорит:

— Так и так: уходите себе подобру-поздорову на свой Дон. Морские же струги ваши да те пушки, что побрали раньше на Волге да в Яике-городке, отдайте нам, а служилых людей, коих сманили оттоле ж, отпустите на все четыре стороны, равно и купеческого сына Се-хамбета с прочими пленниками.

Стенька же, возвысясь превыше других равных ему человеческих тварей, возмыслил о себе до безмерности. Прочитал он грамоту да и говорит Скрипицыну:

— Ладно, порассудим. Ответ от нас, скажи своим воеводам, будет.

— Да вот который уже день ждем от него ответа, а ответа все нет как нет. Да и не будет! — с горечью заключил Львов.

— А я так уповаю, что будет, — сказал невозмутимый в своем благодушии Прозоровский, — большой он хитроумец, не спорю, никому не предугадать, что у него еще на уме. Да много ведь и их братии в бою полегло, того больше, пожалуй, перемерло от всяких болезней в стужу и в ненастье на бурном море. Самим им, чай, в охоту отдохнуть наконец у се-

бя на родине, а там, даст Бог, заживут еще мирно и ладно, как добрые христиане... Да вот, смотри-ка, смотри, не от них ли полномочные сюда к нам плывут?

И точно, приблизившийся к стоявшему в отдалении сторожевому судну небольшой казачий струг, известившись там, видно, о местонахождении обоих воевод, направился теперь прямо к кораблю "Орлу". Немного погодя на палубе перед воеводами стояли два молодца-казака с бронзовыми от загара, обветрившимися лицами и со смелым до наглости взглядом. О перенесенных ими всяких невзгодах свидетельствовали их сильно потертые чекмени (казачьи кафтаны) и поношенные шапки, но чекмени были из дорогого сукна и обшиты золотым позументом, а заломленные набекрень шапки были унизаны кругом самоцветными камнями.

— Добро пожаловать, братцы, — приветствовал казаков Прозоровский. — От атамана своего, знать, с доброй вестью?

— Так точно, батюшка-воевода, от славного атамана нашего Степана Тимофеича, — отвечал казак постарше, слегка приподнимая

на голове шапку и встряхивая кудрями. — Изволила твоя милость прислать нам с полномочным пропускную царскую грамоту. Так вот мы, таковые же полномочные, против той грамоты тебе от всего нашего казацкого войска челом бьем.

При этих словах своего товарища и второй полномочный немного приподнял свою шапку, иллюстрируя тем челобитье всего казацкого войска.

— Так что же вы, не прекословя, подчиняетесь всем поставленным от нас условиям?

— Не то что подчиняемся, батюшка, а готовы принять оные, — отвечал опять старший казак, с ударением на словах "подчиняемся" и "готовы". — Буде великий государь московский Алексей Михайлович отдаст нам все наши вины и беспрепятственно отпустит нас на Дон с нашими пожитками, то мы не станем уже ему напередки противления чинить, рады великому государю служить и головами своими платить, где он нам укажет. Взятые нами с бою пушки возвращаем без спору...

— И все прочее забранное тоже?

— Что можно — возвратим. Служилых лю-

дей, буде сами пожелают, равномерно отпустим, силой держать не станем. Что же до стругов и струговых снастей, то как доплывем вверх до Царицына, где на Дон нам сухим путем переволакиваться, то и их тоже отдадим.

— Хорошо, будь так. А как же насчет того купеческого сына Сехамбета, что взят вами?

— Насчет купеческого сына у нас еще не слажено: сидит он у нас в откупе в пяти тысячах рублях.

— Но сказано же вам, что и он должен быть отпущен!

— Будет отпущен беспременно, как только внесут за него выкуп.

— Да кому же внести-то? Родителя его вы кругом уже обобрали.

— Кто внесет: сам ли его родитель, приказная ли палата, — для нас все едино.

Младший воевода наклонился к старшему и стал ему настоятельно говорить что-то на ухо.

— Гм, да... Так-то так... — прошамкал Прозоровский, потом обернулся опять к казакам. — Ну, а есть ведь у вас еще и другие полоняники — персиане? Как же с ними-то?

— Про них, прости, батюшка, мы в точности не осведомлены. Атаман у нас всему голова и вершитель. Мы же только наказ его исполняем.

— Да ведь эти же все бедняки, голыши. Ни нам, ни вам нет от них проку.

— Не можем знать. Чего не знает, не погневись, того не знаем.

— А скажите-ка, братцы, — заговорил тут младший воевода, — пали до нас слухи, что войско ваше основалось за десять ден отсюда, у Свиного острова. Что оно, все еще там же?

— Никак нет. Нонече мы стоим куда ближе отселе — под устьем Волги.

— Не на Четырех ли Буграх? — догадался Львов.

— На Четырех Буграх, точно. Островок, как ведомо вам, господа воеводы, невеликий, но превысокий да скалистый, кругом весь камышами оброс. В одном лишь месте небольшой проход оставлен для наших стругов. Укрепились мы там, что в крепостце, наставили на тот проход пушек, всей мочью будем обороняться, буде вы с вашими стрельцами похотели бы взять нас с боя. Держимся мы сторож-

ко, похлопывать из пушек да из пищалей сызмальства обучены, а съестного всякого у нас преизобильно. Пожалуйте, дадим вам такой бой, что небу жарко станет, ни вашего войска, ни своего не пожалеем. Кто еще верх возьмет — одному Богу ведомо, а буде, паче чаянья, вы бы нас все же одолели, то и тогда мы не сдадимся доброй волей, пробьемся и уйдем домой — и не Волгой, а Кумой, да по пути у черкесов еще коней отгоним, не с пустыми ж руками к своим ворочаться! Вот вам, господа воеводы, и весь наш сказ. У нас, казаков, все начистоту, без уверток, кривить душой мы не умеем.

"Ай да удальцы!" — подумал Илюша. Не менее сильное впечатление, по-видимому, произвела дерзкая отвага посланцев Разина и на обоих воевод. Еще раз тихонько меж собой посоветовавшись, они пришли к определенному решению.

— Вот что, други мои, — заговорил Прозоровский. — В том, что ваш атаман и все ваше войско сдержат свое обещание насчет сдачи нам людей, пушек и прочего, примете ли вы присягу?

— Отчего не принять? Примем, — отвечали в один голос казаки.

— Не найдется ль у тебя, господин капитан, евангелия?

Евангелия на церковно-славянском языке у голландцев, разумеется, не нашлось. Но такое оказалось у Илюши, который унаследовал его от покойной матери и взял с собой на дорогу.

По приводе обоих казаков к присяге Прозоровский, как бы в подкрепление словесного договора, попросил капитана Бутлера дать залп из пушек, чем казаки остались, видимо, очень довольны, а еще более, быть может, доброй чарой ромanei, которую Бутлер поднес каждому из них уже от себя.

Похвалив "знатное винцо" и пожелав капитану доброго здоровья, уполномоченные откланялись.

— Дай Бог, чтоб и с атаманом их сошло у нас все так же гладко! — заметил Прозоровский, глядя вслед удаляющемуся казачьему стругу.

— "Дай Бог" — хорошо, а "слава Богу" — лучше, — отозвался раздумчиво Львов. — Ата-

ман их — травленая лиса! Чтобы из Москвы не подвергнуться нам опять нареканию, что властью своей небрежем, надлежало бы ныне же пресечь им пути к новым злоумышлениям.

— Так что же ты, князь Семен, делать ладишь?

— Да обложить их немешкотно у Четырех Бугров.

— Гм... — промычал Прозоровский и втянул в себя оттопырившуюся нижнюю губу.

— А что же ты сам против сего имеешь? Старик махнул рукой.

— Я немотствую! Войско и суда ведь в твоём ведении, так и верши в свою голову.

— Ах Ты, Господи! — слышался тут около них глубокий вздох.

Оба обернулись: вздыхал, оказалось, стоявший тут же Илюша.

— Ты-то о чем? — спросил его Прозоровский и, подняв рукой его подбородок, заглянул ему в глаза с отеческой улыбкой. — Вот погоди, как господин капитан сойдет на берег, так возьмет тебя, может, с собой.

— Да я теперь не об том... — прошептал

Илюша.

— О чем же?

— Коли казаков обложат на их острове, так когда-то еще я узнаю про моего брата!

— Долго это теперь не протянется, — заметил Львов. — Сила солому ломит.

— Ну, Разин-то не солома, — возразил Прозоровский, — но все же, я чай, вонмит гласу рассудка и принесет свой бунчук к нам в приказную избу. Тогда я, дружок, допрошу его, пожалуй, и насчет твоего братца-шалопута.

— Коли за делом про него не забудешь!

— И то случиться может! — печально улыбнулся опять Прозоровский. — На старости лет забывчив я стал. Так вот что: изготвься-ка сей же час. Горница у меня в доме для тебя найдется, да и самому мне с тобой не так скучно будет, княгиня-то моя с детьми в отлучке.

Надо ли говорить, что Илюша с радостью принял приглашение доброго старичка?

Глава двенадцатая

СТЕНЬКА РАЗИН

План свой относительно обложения разинцев младший воевода князь Львов выполнил на другое же утро и с полным успехом. Когда он с флотилией в тридцать шесть судов, вооруженных орудиями и четырьмя тысячами стрельцов, появился перед Четырьмя Буграми, где укрепился со своей вольницей Стенька Разин, и потребовал, чтобы казаки немедленно сели на свои струги и последовали за ним к Астрахани, — бесстрашный, но вместе с тем и хитроумный казацкий атаман не стал попусту упираться, у него самого было ведь всего двадцать два струга, а войска не более шестисот человек. Выговорил он себе только одно: чтобы его приняли с должным почетом.

И вот, когда он вслед за царской флотилией приплыл к Астрахани со своими казаками, его приветствовали со всех царских судов орудийным огнем. На ответный салют казаков Львов велел палить вторично. Разин сде-

лал то же. Тогда воеводские орудия грянули в третий раз, и с казачьих стругов отвечали третьим же залпом.

После этого царские суда двинулись в гавань, а казаки поплыли далее к Болдинскому устью Волги, где и расположились на берегу станом.

Во время троекратного обмена салютов на взморье вся набережная в гавани была, конечно, запружена народом. В числе зрителей находился и Илюша. Но как ни напрягал он зрения, различить безбородое лицо брата среди усатых разинцев на проходивших в отдалении казачьих стругах не было никакой возможности. Пришлось еще потерпеть.

Два дня спустя, когда Прозоровский с Илюшей уселись только что за обеденный стол, явился дневальный с докладом, что от атамана казацкого Степана Тимофеича прислан передовой казак, сам атаман-де пожалует через час времени.

— Не мог загодя оповестить! — проворчал воевода, который из всех благ жизни на старости лет ценил лишь одно — хорошо покушать. — Сбегай-ка, братец, в приказную пала-

ту, чтобы дьяк[10] и повытчики, да и писцы все были на своих местах.

Приказная палата находилась по соседству от воеводского двора. Поэтому дневальный через несколько минут уже вернулся обратно.

— Что там еще? — с неудовольствием обернулся к нему Прозоровский, принявшийся еда за второе блюдо.

— Смею доложить, осударь воевода: в приказной-то палате, опричь сторожа, хоть шаром покати — ни дьяка, ни повытчиков, ни писаришек.

— Да что же это такое, Господи Ты Боже мой! Ведь сказано же дьяку, что с часу на час ожидается казацкий атаман?

С трудом сдерживаемая усмешка заиграла на губах дневального.

— Сказано-то сказано...

— Ну?

— Да ведь дьяк-то того... с вечера еще, слышь, мертвую запил.

— Вот наказанье Божие! Доколе не отрезвится, от него путного не жди. Ну, а повытчики-то как отлучиться посмели?

— Старшего повытчика твоя милость сам ведь еще позавчера погостить к родным отпустил.

— Гм... я сам... Так ли?

— Так, осударь воевода: сторож сейчас только мне сказывал.

— Да отпущен-то он мной на много ли дней?

— На одни сутки.

— На одни, не более? А ушел, говоришь ты, уже позавчера?

— Позавчера, осударь.

— Так отчего его, непутящего, о сю пору еще нету на месте! — возмутился добряк-воевода и хватил даже кулаком по столу.

Гнев его, однако, был подчиненным, должно быть, не оченьто страшен, потому что дневальный как ни в чем не бывало опять ухмыльнулся:

— У родных, знать, на погулянках той же хворью, что и дьяк, захворал.

Прозоровский в бессильном отчаянии развел руками.

— Вот и возись с этими приказными! Просто ладу с ними не стало! А младших повыт-

чиков и писцов тоже, значит, ни души?

— Ни единого, знамое дело. Начальства нету, так чего им зевать-то? За час, почесть, до обеда еще разбежались. Теперича их и с собаками по городу не разыщешь. Да что, ба-тюшка воевода, коли тебе дошлый писака так до зарезу уже нужен, то один-то есть на при-мете.

— Кто такой?

— А площадной строкулист, что на собор-ной площади темному люду челобитные и ябеды строчит. Родного отца своего, коли на то пошло, обойдет, засудачит.

Тут и Илюше вспомнилась эта замечатель-ная личность. Слоняясь накануне по городу, мальчик забрел и на соборную площадь. В од-ном ее углу, около самого кружала (питейно-го дома), сидел за столиком горбатый красно-носый человек в засаленном, заплатанном кафтане, со всклокоченной бородкой. В руке у него было гусиное перо, на столе перед ним ворох бумаг, пузырек чернил да большая кружка не то браги, не то зелена вина. Вокруг столика толпилось несколько простолюдинов обоего пола. Двое мужичков, перебивая друг

друга, с жаром что-то объясняли горбуну, а он важно помахивал только головой, да временами задавал вопросы. Тут один из спорщиков неожиданно сбил с другого колпак и хватить его за волосы. Тот в свою очередь вцепился ему в лохматую бороду, и пошла потеха!

— Отойдите-ка к сторонке, братцы, не то еще стол мне опрокинете, — спокойно заметил им площадной писец, подкрепился из кружки здоровым глотком, подозвал к себе ожидавшую своей очереди бабу и стал выслушивать ее жалобу с тем же невозмутимо важным видом.

Прозоровский, несомненно, еще лучше Илюши знал этого крючкотвора и слышать про него теперь не хотел.

— Нет, уж Господь с ним! И без того его писанья вот где у меня сидят! — указал он на горло. — Беги-ка к князю Семену, чтобы шел поскорей в приказную палату.

— А сам ты, батюшка князь, туда тоже будешь?

— Буду, буду. Ни покушать толком, ни вздремнуть потом не дадут ведь, греховодни-

ки! Ох, времена, времена! Подавать третье! — приказал он прислуживающему слуге, а затем пробормотал не то про себя, не то обращаясь к Илюше: — Уж это мне крапивное отродье! Хоть бы один-то из них остался...

— Не погневись, князь, за смелость, — заговорил тут Илюша. — Но ведь у тебя с князем Семеном Иванычем все, я чай, уже обсуждено и порешено, что писать-то?

— И вестимо.

— Так вся задача, стало быть, только в том, чтобы решенное с ваших слов написать?

— "Только"! Да что ты, глупыш, думаешь: нас с князем Семеном родители в писцы тоже готовили?

— Прости, князь, по простоте сказалось, — еще раз извинился Илюша. — Спрашивал я затем, что могу, пожалуй, тебе послужить в сем деле.

Прозоровский расширенными от изумления глазами оглядел мальчика.

— Да ты сам разве грамотный?

— Грамотный и письму тоже изрядно обучен.

— Как ворона лапами, поди, по бумаге пе-

ром мыслете выводиться?

— Нет, пишу чисто и скоро.

— Чудеса! Да кто тебя, мальчонка, сему искусству обучил-то?

— Русской грамоте обучил спервоначалу наш поп приходской, отец Елисей, а письму российскому и немецкому учитель-немчина Вассерман.

— Сам Бог тебя мне послал! Писал бы хоть мало-мальски четко — и то благодать, на безрыбье и рак рыба. Как пойду в приказную избу, так смотри, дружок, не отставай от меня.

А Илюша только и мечтал о том, чтобы присутствовать при приеме воеводами прославленного атамана разбойников.

Первая встреча их состоялась на крыльце приказной избы, куда вышли оба воеводы при приближении шумного шествия казацкой вольницы. У Илюши в ожидании выпавшей на него при этом ответственной роли сердце, понятно, учащенно билось. Но до времени он остался стоять за порогом в полутемных сенях, чтобы тем непринужденнее наблюдать за всем, что происходит впереди.

Явился Стенька Разин на поклон к цар-

ским воеводам во главе целой свиты выборных казаков. За свитой шла небольшая кучка пленников, за пленниками несли знамена и везли пушки. Все это омывалось необозримыми волнами любопытного люда всяких народностей, обитающих в Астрахани, преимущественно же персиан.

В числе персиан обращал на себя особенное внимание одетый богато, почтенного вида сивоусый старик. Несколько раз порывался он пробиться сквозь цепь казаков, окружавших пленников, и оглашал воздух одним жалобным воплем:

— О, Сехамбет! О, Сехамбет!

Всякий раз, однако, казаки бесцеремонно его отталкивали. Шествовавший впереди всех с высоко поднятой головой Разин делал вид, что ничего не замечает. Только перед самым почти крыльцом приказной избы, точно для того, чтобы быть услышанным и стоявшими на крыльце воеводами, он через плечо окинул неугомонного старика-персианина орлиным взглядом.

— Это ты опять шумишь там, Мухамед-Кулибек? Что тебе еще?

— Да сына бы моего вызволить, милостивый господин атаман! — отвечал тот с почти-тельным поклоном.

— А выкуп за него внес в приказную казну?

— Внес, как твоя милость повелеть изволил.

— Полностью?

— Полностью, господин атаман, пять тысяч рублей.

— Коли так, то и сын твой будет отпущен. Дай мне только наперед поладить с господами воеводами.

Да, атаман этот не был простой челобитчик, чаявший прощения или милости от царских воевод! То был как бы равноправный им начальник, входивший с ними в любовную сделку.

Пышная соболья шапка на нем была украшена алмазами и жемчугом, вооружение его: сабля, пистолеты и кинжалы, — так и искрились самоцветными камнями. Сам рослый и атлетического сложения, он нес в руке свою атаманскую булаву — бунчук — с таким естественным достоинством, с таким как бы при-

рожденным благородством, точно с самой колыбели своей был предназначен атаманствовать. Черты лица его были, правда, крупны и грубы, со следами оспы (в те времена о прививке оспы не было еще и помину); но они были вполне благообразны, даже в своем роде красивы, и, благодаря именно этой красивой грубости, как нельзя более согласовались с его богатырской фигурой и горделивой осанкой. Вдобавок он умел придавать своему бесстрашному взору какую-то особенную дерзкую ласковость, от всего существа его веяло такой необузданной мощью, что одним уже видом своим он должен был производить на своих подчиненных, да и вообще на темный люд, неотразимое обаяние. А молва о его разбойничьих "подвигах", разраставшаяся из уст в уста до баснословных размеров, окружала его еще особым ореолом.

И Илюша, глядя на него, обомлел, затрепетал.

"И от этого-то человека мне потребовать, чтобы он доброй волей выдал мне Юрия? Да мне с ним и слова одного не вымолвить!"

Обменявшись с воеводами обычными при-

ветствиями, Разин, в знак своего подчинения законным представителям царской власти, с той же, однако, непринужденной самонадеянностью сложил к их ногам на ступени крыльца свою булаву, а затем отдал приказание сложить туда же и казацкие знамена, подкатить к крыльцу пушки; в заключение же поднес каждому из воевод с поклоном "поминки" из дорогих персидских тканей.

Милостиво приняв это "добровольное" приношение, воеводы стали пересчитывать пушки.

— Что-то их маловато, — заметил вполголоса Львов.

— Сколько их тут, атаман? — отнесся Прозоровский вслух к Разину.

— Пять медных, как изволишь видеть, и шестнадцать железных, — был ответ.

— Но забрано их тобой на Волге да на Яике ведь куда больше?

— Больше, точно. Двадцать пушечек мы покудова на всяк случай оставили себе.

— Да как же так?

— А так, что от Царицына до нашего донского городка Паншина они могут нам самим

еще пригодиться против татар и иных шату-щих людей. Чем же нам от них обороняться?

— Как ты полагаешь, князь Семен? — тихонько посоветовался старший воевода с младшим. — Ты лучше уж сам столкнись с ним.

— Оставить их вам мы все же не можем, — заявил казацкому атаману Львов решительным тоном.

Но тот отозвался не менее решительно:

— А нам, прошу не прогневаться, без них тоже никак не обойтись. Из Паншина же мы вышлем их тотчас обратно в Царицын.

— И дадите нам в том подписку с рукоприкладством?

— Дадим, пожалуй. Оставлять их себе и так ведь у нас думано не было.

— Будь так. А где же аргамаки царские?

Разин выразил на лице своем полное недоумение.

— Аргамаки царские? — повторил он. — Да у нас таковых николи и не бывало.

— Как не бывало! Ведь онамедни еще взял ты их с бусы купчины Мухамеда-Кулибека, вез он их в дар нашему великому государю от

шаха персидского.

— Да! Так твоя милость понимает тех трех шаховых аргамаков? Ну, великий государь их от шаха еще не соизволил принять, да, почему знать, может, и принять-то не пожелал бы. Мы же взяли их с бою у шаховых людей. Так коли уж подносить их в дар государю, то, может, мы и сами их ему от себя поднесем.

И, как бы считая вопрос исчерпанным, атаман продолжал:

— А полоняников сдадим мы вам с рук на руки сей же час. Эй, вы, полоняники, подойдите-ка ближе.

Выступило вперед пять человек пленных персиан, четверо — в воинской форме, а один — в национальном персидском платье. Указав на последнюю, Разин объяснил, что этот вот и есть тот самый купеческий сын Сехамбет, за коего, по словам его родителя, Мухамеда-Кулибека, внесен уже в приказную казну условленный выкуп в пять тысяч рублей.

— Выкуп, точно, внесен, — подтвердил Прозоровский. — Но полону тут всего пять душ. Где же остальные? — Остальные-то?.. До-

стались они нам тоже не даром: мало ли и наших братьев легло в шаховой области ко-
стьюми, мало ли уведено и в неволю! Долг пла-
тежом красен. Хотят родные их выкупить —
пускай выкупают.

— Что скажешь, князь Семен?

— Да что же, погодим: может, и выку-
пят, — отвечал младший воевода. — А вот
иное дело — служилые люди. Их к тебе, ата-
ман, пристало также изрядное толико.

— А разве кто из них жалился вам на ме-
ня? — спросил в ответ Разин.

— Жалоб-то от них не поступало...

— Так о чем же разговор? Пристали они к
нам по своей же охоте. Хотят опять уйти —
пускай уходят, мы их не держим. Да сумни-
тельно, чтобы кто от вольной волюшки в ка-
балу назад пошел!

— Гм... О сем мы еще ужо порассудим. Но,
окроме царских аргамаков, казаки твои по-
грабили у Мухамед-Кулибека и много соб-
ственных его товаров. Так вот все награблен-
ное должно быть возворочено владельцу.

— Эко слово молвил! Да нешто это еще в
моей власти? Товары, что побрали мои мо-

лодцы на море, — воинская их добыча и давно меж них уже подуванены. Иное продано, иное в одежду переделано. Что с возу упало, то пропало! За все за то и идем ведь ныне платить великому государю нашими головами. Что можно было — в том мы вам не перечили, а чего не можно — просим не прогневаться. А теперича пожалуйте-ка нам выкуп за купеческого сына, да насчет пушек и пяти полонянников расписочку.

Говорилось это с таким задорным высокомерием, что воеводы сочли за лучшее не входить уже в бесполезные пререкания и пригласили атамана с его товарищами в приказную палату. Проходя сенями, Прозоровский кивнул стоявшему там Илюше: — Ну-ка, грамотей, иди за нами.

Глава тринадцатая

ВЫКУП

В палате, по одну сторону стола, покрытого красным сукном и с зеркалом по середине, расположились оба воеводы; по другую сторону — Разин. Товарищи-казаки стали позади своего атамана с не менее важной осанкой. Илюша с гусиным пером в руке и с бумагой да чернильницей перед собою, замирая, прилежался на краешке стола по соседству с младшим воеводой.

— Так вот, малый, пиши-ка, — обратился к нему Львов, но, вдруг заметив, как перо дрожит в его руке, спросил вполголоса: — Да что это с тобой? У тебя лихоманка?

Илюша сделал над собой усилие и, улыбаясь, отвечал довольно бойко:

— Ой, нет! А что писать-то?

— Пиши по моим словам: "Великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержцу, казацкий атаман, Степан Тимофеев сын Разин со товарищи челом бьет,

а в чем, тому следуют пункты..."

И пункт за пунктом он продиктовал ново-
явленному писарьку то, что было перед тем
обусловлено с Разиным. В заключение он про-
смотрел написанное, одобрительно кивнул
Илюше головой, и прочитал все вслух каза-
кам.

— Ладно ли?

— Ладно, умно и красно, — отвечал за себя
и товарищей Разин. — Прибавь-ка только, что
мы бьем государю челом и теми островами,
что завоеваны нашею казацкою саблей у пер-
сидского шаха.

— Да оставлена ли вами там достаточная
воинская сила, чтобы удержать те острова за
государем?

— Силы-то никакой не оставлено...

— Так ты подносишь, значит, то, чего сам
не мог удержать в руках, и царскому войску
пришлось бы сызнава брать те острова с бою?
Великому государю и без того придется еще
считаться из-за вас с шахом, коею область вы
вконец разорили. Неладны, атаман, твои ре-
чи и на издевку похожи!

От вызывающего тона младшего воеводы

сквозь густой загар на щеках казацкого атамана проступил румянец, и насупленную бровь его чуть заметно дернуло. Но выместить свою обиду теперь же он находил, должно быть, еще несвоевременным.

— Про острова у нас только к слову молвилось, — произнес он с прежним достоинством. — Но самим оправиться перед великим государем никто нам возбранить не может. Выбрали мы для сего станичного атамана Лазаря Тимофеева да есаула Михаилу Ярославову, а с ними еще пять человек. Пока что пускай отправляются в Москву к самому царю. Так-то крепче будет.

Слышавшаяся все-таки в голосе Разина за-таенная досада заставила воеводу не возражать против самого посольства. Львов заметил только, что раньше чем выправлять войсковых послов в Москву, должна быть сделана поголовная перепись всему казацкому войску.

— По нашим казацким правилам делать перепись войску отнюдь не положено! — безапелляционно отвечал Разин. — Ни на Дону у нас, ни на Яике спокон веку того не важива-

лось; да и в государевых грамотах о том нигде не значится. А про выкуп-то за купеческого сына мы за разговор чуть было не забыли. Внесен выкуп ведь полностью — в пять тысяч рублей? Так вот, господа воеводы, чтоб ни вам, ни нам как-нибудь опять не запомнить, пожалуйста-ка нам те пять тысяч теперича же. А купеческого сына мы засим уже не задержим: пускай идет себе, да и прочие с ним, куда им угодно, на все четыре стороны.

На вопросительный взгляд старшего воеводы младший пожал плечами: "Придется, дескать, согласиться!" Каждый из них достал из своего кармана по большому, причудливой формы ключу, и оба удалились в соседнюю горницу. Можно было расслышать, как там отпирались один за другим два замка, затем тяжело хлопнулась железная крышка сундука, снова хрустнули запираемые замки — и воеводы возвратились. В руках младшего был увесистый, перевязанный бечевкой мешок, который он звякнул на стол перед казацким атаманом.

— Ровно пять тысяч? — спросил Разин, развязывая бечевку. — Денежки счет любят.

Мне-то самому нет до них корысти: своих де-
вать некуда. Боюсь тех обсчитать, коим их на-
значил.

И он высыпал содержимое мешка на стол.
Среди груды серебряных копеек (самой ходя-
чей в то время на Руси монеты) были и ефим-
ки (ценностью в 20 алтын, или 60 коп.), были
и червонцы.

— Ну, братцы, — обратился атаман к своим
товарищам, — принимайтесь-ка за работу. Зо-
лото отберете особо, серебро покрупнее тоже,
да сосчитаете: не наберется ль двух тысяч пя-
тисот рублей. Не хватит чего, так добавьте
мелочью; а опосля сосчитаете и остальную
мелочь.

"Аль спросить его все же про Юрия? —
мелькнуло тут в голове у Илюши. — Господи,
благослови!"

— Прости, атаман... — начал он, запинаясь.
— Скажи, пожалуйста, нету ли у тебя в
войске казака по имени Осип Шмель?

Разин метнул на мальчика своим острым
взором, точно хотел пронзить его насквозь.

— Осип Шмель? — переспросил он. — А ты
отколь его знаешь?

— Так он здесь! С ним бежал к тебе старший брат мой...

— Да сам-то ты кто будешь?

— Он — сын боярский, внук моего старого приятеля, — пояснил со своей стороны Прозоровский.

— Отрезанный ломоть к хлебу не пристаешь, — сухо оборвал разговор Разин и обратил все внимание на своих товарищей, пересчитывавших деньги.

Отделив в одну сторону золото и крупное серебро, а в другую — серебряную мелочь, они пересчитали обе кучки, и затем из второй кучки прибавили горсточку к первой.

— Ну, что, верно? — спросил Разин.

— До копеечки, батюшка Степан Тимофеич, — отвечал старший из казаков.

— По две тысячи пятисот рублей в каждой кучке?

— В каждой, батюшка.

— Так вот, господа воеводы: в уважение доброй к вам приязни эти две тысячи пятьсот рублей (он указал на правую кучку) я жалую на вашу приказную избу: золото да серебро покрупнее вам способнее ведь мелочи? А эту

мелочь, — продолжал он, сгребая обеими руками вторую кучку, — эту мелочь, братцы, вы раздадите от моих щедрот народу. Давайте-ка сюда ваши шапки.

И в подставленные казаками шапки зазвенел серебряный дождь. Воеводы до такой степени были поражены небывалою щедростью казацкого атамана, что не нашли даже что сказать, и только на прямой уже вопрос его: "Удоволены ли они таким дележом?" — отвечали с поклоном:

— Много довольны.

Разин приподнялся с места.

— А руку к челобитью когда мне приложить? Я чай, до отсылки в Москву еще перебелить дадите?

— И вестимо, — отвечал Львов. — Дьяк наш недомогает, но завтра, либо послезавтра, даст Бог, оправится...

— И ввернет еще какую хитрую заковыку? Прошу наблюсти, чтобы того отнюдь не было!

— Не будет; перечитает он лишь так, для порядку, а писец перебелит. Тогда тебя, Степан Тимофеич, еще раз побеспокоим.

— А то, может, и сами к нам завезете, не

побрезгуете казацкою хлебом-солью? Стол у нас про добрых гостей завсегда заготовлен.

Как только казаки вышли из приказной палаты, оба воеводы, а за ними и Илюша, подошли к окну: всем троим хотелось видеть, как-то удалый атаман разбойников выступит перед народом. С появлением его богатырской фигуры на крыльце приказной избы шумевшая внизу многотысячная толпа разом замолкла. Когда он тут спустился по ступеням, стар и млад почтительно дали ему дорогу. Когда же следовавшие за ним товарищи стали из шапок своих сыпать направо и налево полною горстью серебряную мелочь со словами: "Атаман от щедрот своих вас жалует!" — произошло если не побоище, то жаркая свалка и потасовка. Сам атаман шествовал все далее с победоносным видом, милостиво кивая расступавшемуся перед ним народу, а народ ему земно кланялся и оглашал воздух приветственными кликами:

— Свет ты наш, кормилец, батюшка Степан Тимофеич! Дай тебе Бог здоровья!

Для темных людей это был идеал удалца-разбойника, стихийной силе которого они,

более слабые, безотчетно поддавались, поклонялись. Впрочем, и оба воеводы, по-видимому, признавали эту могучую силу.

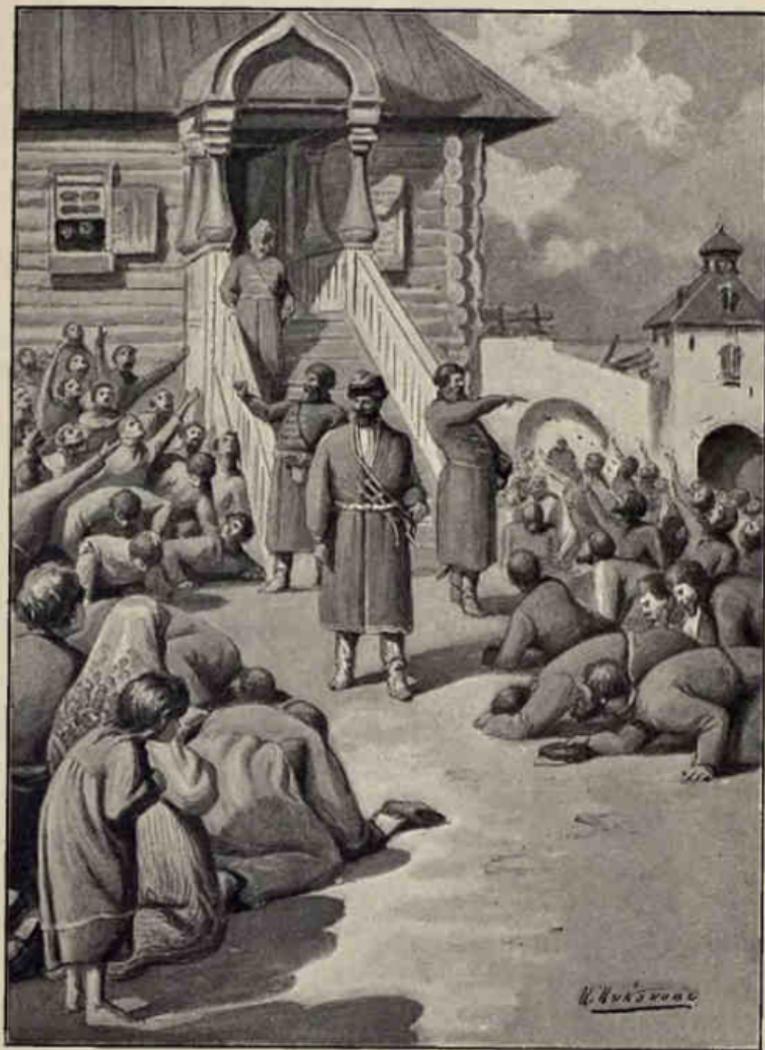
— И нам с тобой, князь Семен, нет ведь того почета! — со вздохом заметил своему товарищу Прозоровский. — Ты помнишь еще, верно, на Москве покойного боярина Стрешнева, что ездил в немечину к лекарственным водам?

— Как не помнить. А что?

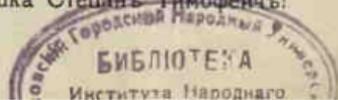
— Да насмотрелся он там всяких диковин, видел и некоего искусника, укротителя львов. "Вошел, — говорит, — тот укротитель в львиную клетку без всякого оружия, один хлыст в руке; щелкнул хлыстом перед самой мордой льва, подставил ему хлыст

— и перепрыгнул лев, как послушная собачка. А осердись лев,хвати его лапой — и от человека мокренько бы только осталось". Так вот, когда этот Стенька сидел тут в палатке перед нами, мне все сдавалось, что он — этакий лев в клетке, а мы с тобой — его укротители.

— М-да, похоже на то, но что впереди — еще Бог весть! — отозвался задумчиво



— Свѣтъ ты нашъ, кормилецъ, батюшка Степанъ Тимофенчъ!



Львов. — Зовет он нас с тобой на хлеб-соль в свою собственную львиную берлогу. Кому охота видеть себя съеденным! Да не вместе то же доблестному выполнению нашего долга выказывать перед ним малодушие.

— Так что же ты делать-то ладишь?

— В ознаменование нашего к нему якобы благорасположения, заглянуть к нему, хошь не хошь, а придется!

Глава четырнадцатая КАЛМЫЦКИЙ ПРАЗДНИК

Народная толпа перед приказной избой рассеялась тотчас по уходе казаков. Но Илюше уже не сиделось в четырех стенах, и он пошел снова бродить по городу.

И в настоящее время, несмотря на многие прекрасные здания новейшей европейской архитектуры, несмотря на трамвай и электрическое освещение, на Астрахани лежит еще заметно азиатский отпечаток. Во второй же половине XVII века даже кремль с его зубчатой стеной, построенный еще за сто лет перед тем Иваном Грозным, отдавал отчасти азиатчиной. В кремле, кроме воеводских хором и приказной избы, находились еще "аманатный" двор (где содержались "аманаты" — заложники, пленники и вообще арестанты), архиерейский дом и прочие казенные здания. Здесь же был и Троицкий собор, возведенный в начале столетия при Борисе Годунове[11].

При виде собора первую мыслью Илюши было войти туда помолиться за успех своего

предприятия. Царившая в полутемном храме глубокая тишина и освежительная прохлада особенно располагали к сосредоточенной молитве. Когда мальчик немного погодя вышел опять на площадь, на свет и зной, он глядел бодрее и веселее, чем за все время со своего отъезда из Талычевки. В нем укрепились уверенность, что молитва его услышана, и ему дано будет довести свое дело до благополучного конца.

И шел он сперва такую легкою поступью, точно не ощущал вовсе палящих солнечных лучей. Но когда он из кремлевских ворот вступил в самый город, и с моря опажнуло его вдруг ветром — не ветром, а каким-то горячим дыханьем, отзывавшимся смешанным запахом и соленого моря, и вяленой рыбы, и разных гнилых отбросов — дух у него перехватило, кровь в висках застучала, и он волей-неволей задержал шаг. А тут еще тем же ветром подняло, понесло на него целое облако уличной пыли... Он чуть не задохнулся и раскашлялся.

— Это ты, дружок? — услышал он около себя по-немецки. — А я ведь за тобой.

Зажмурясь от пыли, Илюша хотя и не мог разглядеть еще говорящего, но по голосу тотчас узнал своего благожелателя, парусного мастера мингера Стрюйса.

— Здравствуй, Иван Иванович, — отвечал он. — Этою ужасною пылью мне совсем глаза засыпало.

— Да ты весь как в муке. Дай-ка я тебя отряхну, а то тебя и людям показать нельзя, как есть мельник!

И голландец принялся так усердно отряхивать мальчика, что едва не свалил его с ног.

— Ну, вот, теперь ты опять на себя похож стал. Идем.

— Да ты куда ведешь меня, Иван Иванович?

— А на калмыцкий праздник. Здешние калмыки, видишь ли, чествуют одного старого гелюнга, что прибыл к ним из-под Царицына.

— Гелюнг — это ведь поп калмыцкий?

— Да, поп. Посмотреть их народные обычаи и тебе, я чай, занятно.

— Еще бы. А из других никто туда так и не собрался?

— Капитан с полковником и лейтенантом

пошли уже вперед; я же нарочно завернул еще за тобой.

— Ну, спасибо тебе, что не забыл хоть про меня!

Было самое жаркое время дня — часа три пополудни, когда астраханцы спасались от невыносимого зноя в своих каменных постройках, не имевших по большей части даже окон на улицу. Поэтому вплоть до временного становища калмыков — на морском побережье — весь город точно вымер. Зато на побережье вокруг разбитых целым рядом кибиток с развевающимися на них флагами кишел массаами народ. Впрочем, русских было здесь гораздо менее, чем разных азиатов: кроме самих участников праздника, куда неприглядных лицом, но здоровенных, коренастых калмыков, наряженных по случаю торжества в яркие шелковые халаты; были здесь и другие отрасли монгольского племени, такие же скуластые и косоглазые: разжиревшие купцы-бухарцы в цветных чалмах и зеленых халатах; бедняки-ногайцы в серых валеных шляпах и серых же потертых кафтанах; одетые еще беднее, забитые, слабосильные, кри-

воногие киргизы. Тем выгоднее выделялись среди них азиаты благородного арийского племени — персиане, благообразные и степенно важные, которым их высокие, конусообразные мерлушковые шапки придавали еще особенную сановитость.

Долго, однако, производить свои этнографические наблюдения Стрюйсу и Илюше на этот раз не пришлось, потому что из самой большой кибитки вышел к ним лейтенант Старк со словами:

— Наконец-то, мингер Стрюйс! Где это вы столько времени пропадали? Хотели было уже без вас начинать.

Калмыцкие кибитки как кочевые жилища имеют перед постоянными обиталищами одно существенное преимущество, что чрезвычайно легко и быстро складываются и разбираются: на остовах из раздвижных решеток и потолочных жердей укрепляются кошмы (по большей части из овечьей шерсти), а на верхушку насаживается цветной шелковый флаг с вышитой на нем молитвой — и жилище готово.

В глубине обширной кибитки, на самом

видном месте, расселись, поджав под себя ноги, на пестрых коврах три гелюнга: двое — в желтом облачении и один — в красном. Последний, сановитый старец, был, очевидно, тот самый приезжий гелюнг, ради которого было устроено настоящее празднество. Рядом с ним расположились другие почетные гости — капитан Бутлер и полковник ван Буковен; около этого было оставлено еще место для их товарищей. Далее по обе стороны разместились, кто сидя, кто стоя, хозяева других кибиток и несколько разряженных калмычек.

Входящих новых гостей все три гелюнга, а за ними и остальные калмыки и калмычки, встретили в один голос обычным своим приветствием:

— Менду, менду! (Здравствуйте, Здравствуйте!)

Составив себе еще под Саратовом общее представление о калмыках как о народе с безобразною наружностью, Илюша при входе в кибитку был приятно изумлен и невольно загляделся на девочку-подросточка, выделяющуюся среди присутствовавших калмычек

своею редкою миловидностью. Даже выдающиеся скулы и разрезанные вкось глаза не портили ее дикой красоты. Насаженная набедрень своеобразно нарядная соболья шапочка с серебряной пуговкой на верхушке и отделанная пестрыми ленточками сеточка от комаров и мошек; шелковая безрукавка и терлик, расшитые позументами и усаженные блестящими пуговками; шелковые шаровары и сафьяновые, бирюзового цвета башмачки с загнутыми вверх носками — все согласовалось как нельзя лучше с ее невинным, хорошеньким личиком, с ее стройным, полудетским станом.

Со своей стороны и девочка метала на вновь прибывших долгие, любопытные взгляды и привлекла этим, оказалось, также взоры парусного мастера. Усевшись вместе с лейтенантом и Илюшей на разостланных коврах, Стрюйс вполголоса заметил Старку, что вот и среди калмычек есть своего рода милашки.

Илюша, зная хорошо по-немецки, в течение трехмесячного плавания по Волге с голландцами настолько освоился с их языком,

родственным немецкому, что понимал уже почти каждое их слово.

— Вы говорите об этом подросточке? — тихонько же переспросил Старк. — Это внучка гостя-гелюнга. Сейчас вот в честь их обоих начнется представление наподобие олимпийских игр.

— Единоборство?

— Да, и без всякого оружия. Ведь у калмыков с раннего детства любимая забава — борьба. Недаром у них так развита мускулатура всего тела.

— А где же борцы?

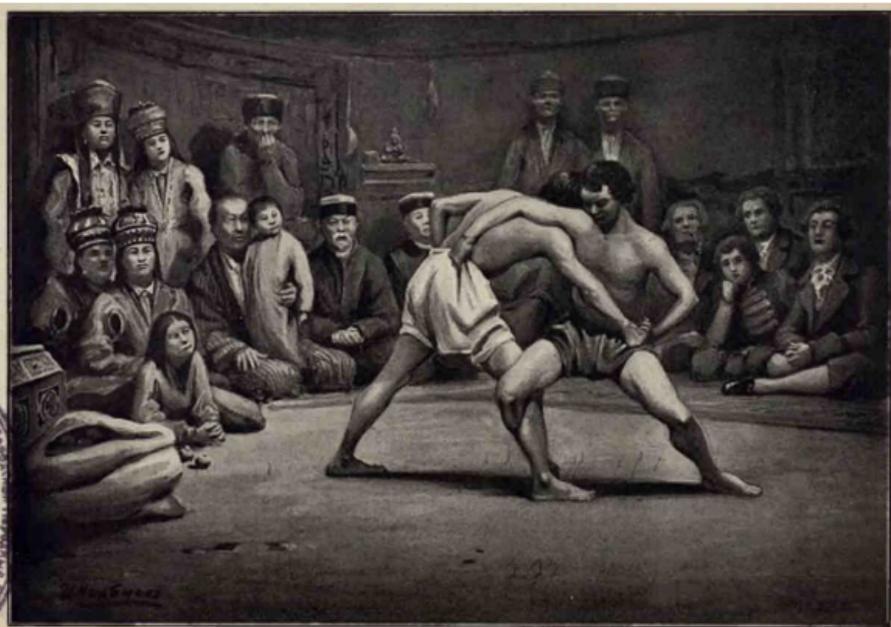
— За ними уже послано. В каждой кибитке есть борцы разных возрастов. Гелюнги дают секретный приказ — привести таких-то борцов, и каждому борцу накидывают на голову покрывало, чтобы он заранее не видел противника. Да вот их никак и ведут.

С улицы, действительно, донесся усиленный гомон, а вслед затем в кибитку были введены двое юношей, избранных для борьбы. Через головы до самого пояса им были переброшены собственные же их кафтаны. Поставив их одного против другого, с голов их ра-

зом сорвали кафтаны, и тут только, очутившись лицом к лицу с противником, каждый из них понял, с кем имеет дело.

Никакая одежда не стесняла движений их молодых, мускулистых, смуглых тел. Только вокруг бедер была перевязка, чтобы противнику было за что ухватиться.

Секунду одну, не более, глядели борцы в глаза друг другу, как бы соображая наиболее выгодные приемы для одоления такого противника. В следующий миг они уже схватились — и началась борьба.



Они схватились — и началась борьба.

То не была, однако, порывистая, неуклюжая схватка наших деревенских парней — о, нет! То была правильная, красивая в каждом телодвижении борьба опытных гимнастов. Что за напряжение мышц! Что за изумительная увертливость и в то же время грация!

Но всему есть предел. Силы обоих борцов, видимо, слабеют. Один из них вдруг пошатнулся... Но ему не дали упасть. Накинув снова на головы обоим кафтаны, их вывели вон из кибитки. Гости-голландцы выразили хозяевам благодарность за доставленное удовольствие, а затем собрали меж собой небольшую сумму для передачи борцам.

— Как бы только из-за этого они опять не передрались, — заметил Бутлер, — злоба их, верно, еще не уходилась.

— Что ты, господин! — отвечал один из гелюнгов. — У наших молодцов, как кончилась игра, так сейчас и мир. Ваши деньги они поделят по-братски, совсем поровну. Теперя пойдет такая ж игра на улице у мальчишек поменьше. Угодно тоже посмотреть аль послушаете песни наших девушек?

Голландцы предпочли пение. В руках у

подростка-внучки старшего гелюнга очутился трехструнный инструмент вроде балалайки. По знаку деда девочка забренчала по струнам и звонким голоском затянула довольно однообразную грустную песню. После первой строфы за запевальщицей подхватила ее соседка, за тою — третья, и так песня обошла всех калмычек, пока не настал опять черед запевальщицы. Тут пальцы ее забегали по струнам быстрее. Приподнявшись со своего ковра, она выступила на середину кибитки и затопала ножками.

То не был настоящий танец, а равномерное переминание, покачивание всем телом на одном месте. Тем не менее все движения молоденькой танцовщицы были исполнены такой изящной плавности, что ни Илюша, ни даже взрослые зрители не могли оторвать от нее глаз.



Глава пятнадцатая НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА

Между тем на улице, судя по оживленным возгласам, долетавшим в кибитку, продолжалось единоборство калмычат. Тут к поощрительным крикам на калмыцком языке присоединилось и зычное подзадоривание на русском.

— Ай молодца, молодчище! Да коленком поддай ему, слышишь, ну? Вот так! Ха-ха-ха-ха!

За громогласным хохотом последовало многоголосое, не менее гулкое эхо.

— Верно, казаки, — сказал Стрюйс. — Как

бы сюда не заглянули... Ну, так и есть!

Спущенные над входом в кибитку кошмы раздвинулись, и в отверстии показалась уса-тая голова в казацкой шапке; за ней вторая, третья, четвертая. По красному рубцу через всю левую щеку у переднего казака Илюша сразу узнал своего старого знакомого, недоброй памяти Осипа Шмеля. Самого Илюшу разбойник сначала и не заметил: все внимание его приковала маленькая плясунья. Он, видимо, был навеселе и в благодушном настроении.

— Эх, эх! — сказал он, выступая вперед. — Да нешто это пляс? Трясогузочка, что побережку скачет, и та, поди, живею хвостом вертит. Вот погляди, поучись, как у нас на Дону пляшут.

И, подбоченясь, он лихо пустился в присядку. Молоденькая калмычка, надувши губки, возвратилась на свое место и отложила в сторону балалайку.

— Да что ж ты, дурашка, не играешь? — крикнул ей казак.

Она в ответ с гордым видом покачала только головой.

— Не хочешь? Цыпленочек ведь, без году неделя из яйца вылупилась, а туда же! И глазенки-то, смотри, какие палючие! Так и стреляют! Год, другой — лебедушкой, чаровницей станешь, ей-ей! Побожился. Ну, разрюмилась! На поверку-то выходит — дитяtko неповитое. Нагаечкой нешто поучить?

И в воздухе свистнула нагайка. Очень может быть, что Шмель имел в виду только припугнуть "дитяtko". Как бы то ни было, нагайка его вызвала общее смятение. Калмыки, конечно, еще лучше голландцев понимали, что дай они этому головорезу прямой отпор, он в хмелю, чего доброго, не остановится и перед смертоубийством: за поясом у него торчат ведь еще кинжал и пистоль; а за спиной его стоят несколько удалых товарищей, как бы ожидающих только его знака.

— Не замай ее, пожалуй, господин казак! — кротко заговорил старец-гелюнг, преклоняясь до земли, — она мне родная внучка...

— Да сам-то ты, старый хрыч, что за птица будешь?

— Сам я — старший гелюнг, старший поп

калмыцкого народа...

— Свят муж, только пеленой обтереть и в рай пустить! Да будь ты хошь распрогелюнг — мне начхать. А коли ты ей дед, так прикажи ей сейчас играть, тещь мой обычай!

— Не можно ей играть для чужого человека, да не нашей веры, господин казак.

— Господин казак! Господин казак! Заладила сорока Якова одно про всякого. Не простой я казак, а сотник славного атамана казацкого Степана Тимофеича Разина!

И, полный сознания своего высокого чина, он гулко ударил себя кулаком в выпяченную грудь.

— Ежели ты и вправду сотник атамана Разина, — вступился тут капитан Бутлер, — то и должен бы держать себя как сотник, а не как пьяный мужик, не срамить своего атамана.

— Что? Что? — заревел Шмель, уже свирепея, и приступил к нему с приподнятой в руке нагайкой. — Да ты-то кто такой, что смешь говорить так со мною?

— Я — капитан царского корабля "Орел"... Рука с нагайкой опять опустилась.

— Капитан? Гм... Ну, и убирайся на свой

корабль, не суй туда носа, куда тебя не просят. Нам, казакам, государевой грамотой все вины наши отпущены, и нету нам тепереча удержу! Толковать нам с тобой больше нечего.

И от капитана он повернулся снова к старцу-гелюнгу.

— Еще раз, старина, спрашиваю тебя: будет ли твоя внучка играть для меня аль нет?

— Сказал я тебе, господин сотник, что играть ей для тебя никак не можно...

— Для меня не сыграет, так сыграет для моего атамана! Да чтоб одной ей у нас скучно не было, так и других девчат с собой тоже сволочем. Гей, братцы-молодцы, хватай каждый одну в охапку!

Самодурное приказание казацкого сотника было принято его подгулявшими товарищами с одобрительным гоготаньем, перепуганными же калмычками — с воплями и визгом.

Тут, для всех совершенно уже неожиданно, выступил новым их защитником Илюша.

— Полно вам дурить, ребята! — крикнул он, и отроческий голос его зазвенел так прон-

зительно, как у горластого молодого петушка. — Атаман ваш Разин не подписал еще договора с воеводами. А за ваше буйство воеводы наверно откажут в пропуске на Дон всему вашему войску.

Как ни была затуманена голова бесшабашного сотника, а все же он не мог не понять, что если договор воевод с атаманом не будет подписан, то в ответе прежде всего останется он же, Шмель, и ему несдобровать. В то же время он узнал и нашего боярчонка; а потому счел за лучшее благовидным образом пойти на мировую.

— Ба, ба, ба! Не сонное ли видение? — усмехнулся он в лицо Илюше. — Ты-то, сударик, отколь вдруг поваявился? Аль по братце взгрустнулося? А он-то, бедняга, с тоски по тебе, поди, совсем извелся. Идем-ка с нами: то-то тебе, я чай, обрадуется.

— Я и так уже буду к вам с воеводами, — был сдержанный ответ.

— С воеводами! Под крылышко их прячешься? Эх, паря! Смехота, да и только. Не гораздо ты вслушался и шутки не выразумел; думал, небось, что я с какого умысла, — ни,

Боже мой!

Развязавшийся у разбойника язык еще долго, пожалуй, не умолк бы, не поторопись хозяин кибитки налить ему из большого кувшина в серебряную чарку какой-то жидкости.

— Да это что у тебя, любезный, водка, что ли? — спросил Шмель, принимая чарку.

— Водки вашей русской у нас, господин сотник, нема, — отвечал калмык с поклоном. — Это наша калмыцкая рака. Многие русские тоже хвалят, что вкуснее еще водки.

— Ври больше! "Вкуснее!" Ну, да на нет суда нет.

И, опрокинув себе чарку в глотку, он крякнул и вторично подставил ее под кувшин. Выпив и вторую порцию одним духом, он не возвратил уже чарки хозяину, а преспокойно опустил ее к себе в карман; вместо же того взял из рук калмыка самый кувшин, приложил к губам и, уже не отнимая, опорожнил до половины; после чего передал своим подчиненным.

— Допивайте, братцы: не обидеть бы хозяина. С добрым человеком я смирнее теленка, — продолжал он, обводя окружающих по-

соловельм взором. Остановив его снова на внучке гелюнга, он подмигнул ей полушутливо, полуукорительно. — Красна ягодка, да на вкус горька! Ну, счастливо оставаться.

И, покачиваясь, он вышел из кибитки, сопровождаемый своими товарищами.

Все оставшиеся вздохнули с облегчением. Голландцы тоже было приподнялись и стали прощаться. Но без угощения их ни за что не хотели отпустить. Угощение оказалось чисто калмыцким. Были поданы два сорта сыра: бозо — кисловатый и эйзге — сладкий из овечьего молока; засушенная конина — махан, оладьи на бараньем сале — боорцук, пирожные — мошкоомор и бууркум. Все это с непривычки пахло гостям так противно, что им стоило известного усилия не выказывать слишком явно своего отвращения, и они были очень довольны, когда могли смыть с языка неприятный жирный вкус предложенным им в заключение освежительным кумысом.

Теперь их уже не удерживали. Но крепче всех потряс руку Илюше старец-гелюнг, призывая на его голову благословение великого Будды.

— Да за что? — смущенно пробормотал Илюша. — Я сказал казакам только чистую правду...

— А почто же никто другой не сказал им чистой правды? Одна радость была у меня в старости — внучка, а без тебя ее отняли б у меня... И сама она хочет дать тебе одну вещь на память... Кермина! — окликнул старец внучку, которая, точно ожидая, что вот ее сейчас подзовут, не спускала с них глаз.

Вся вдруг вспыхнув, она подошла к ним, проворными пальцами отвязала от своего головного убора сеточку с цветными ленточками и протянула Илюше, лопоча что-то по-своему.

— Бери, бери, пригодится, — сказал ему гелюнг, — больно, вишь, тебя мошкара заела.

Теперь очередь покраснеть была за Илюшей. Наскоро поблагодарив девочку за доброжелательный, но отнюдь не лестный подарок, он поспешил за голландцами, которые уже выходили из кибитки.

Глава шестнадцатая В ГОСТЯХ У РАЗИНА

Слова Шмеля, что Юрий с "тоски совсем извелся", не выходили из головы у Илюши. А сам-то он уж как стосковался по Юрию! Да одному идти к разницам все же как-то страшно; того и гляди, что тебя тоже задержат. Спросить разве самого Прозоровского: как быть?

Прозоровский, со дня на день все более привязывавшийся к внуку своего покойного приятеля, потрепал его по щеке.

— Эко детство! Эко детство! Дай хоть казакам-то договор с нами подписать.

— Да ведь договор и набело еще не переписан!

— Перебелить недолго. Вот как наш дока-дьяк опять в чувство придет и твое писанье одобрит, так комар носу уже не подточит.

— Да когда-то он еще очувствуется!

— А к сему у нас все тщания прилагаются: не токмо не дают ему этого проклятого вина, но ежечасно его еще студеной водой окачивают.

Эти две решительные меры, в самом деле, довольно скоро оказали свое испытанное действие. На второе уже утро законник-дьяк появился среди своих подчиненных в приказной избе — появился, правда, еще очень бледный, вялый, с потухшим взором, и когда рука его взялась за перо, то перо в ней заметно дрожало. Тем не менее, голова у него была уже настолько свежа, что он не затруднился сделать в проекте договора требуемые стилистические и формальные поправки, а затем договор мог быть и перебелен начисто "царским" писцом.

Казацкому атаману было послано извещение, что он может пожаловать теперь в приказную избу для подписания договора. Но от Разина был получен ответ, что сам он ожидает господ воевод к себе, на свой "Сокол"-корабль, как было-де уже намедни стговорено с ними.

Потолковали опять меж собой воеводы и в конце концов решили: отправиться к казакам одному только старшему воеводе, ради большого якобы почета, младшему же на всяк случай быть наготове со стрельцами.

Так-то Прозоровский в сопровождении старшего повытчика и Илюши с небольшим почетным конвоем выехал на другой день на взморье, чтобы оттуда завернуть в Болдинское устье Волги, где стояли суда разинцев, а на берегу был раскинут их временный стан. При приближении воеводского баркаса навстречу ему от казацкой флотилии отделился небольшой струг. Но самого Разина на этом струге не было; на носу стоял только есаул, который, подъезжая к воеводскому стругу, замахал шапкой.

— Здорово, князь-воевода! Наш батюшка-атаман на своем "Соколе"-корабле и много рад тебе.

Отличалось атаманское судно от остальных не только своею большею величиною, но и нарядным видом. На палубе была возведена красивая рубка-избушка, наружные стены, оконца и дверцы которой точно так же, как и весь корпус судна, были ярко расписаны красками и золотом. Паруса, хотя и не из персидских тканей, как говорила народная молва, были, однако ж, и не из простой парусины, а из доброкачественного толстого полотна, по-

ражавшего своею белизною. На снастях же и мачтах весело развевались разноцветные шелковые вымпела и флаги.

На палубе, под шелковым же наметом, был накрыт большой стол, уставленный серебряными и золотыми жбанами, кувшинчиками, кубками, чарами и чарками; а посредине стола на огромном серебряном подносе была навалена груда яблок, груш и всевозможных восточных сластей: казацкий атаман, по-видимому, хотел блеснуть перед царским воеводой всем своим богатством, всюю своею роскошью.

— А мы ждали твою милость, ждали и ждать уже перестали. По здорову ли?

Такими словами развязно, как доброго знакомого, приветствовал Разин у сходня входящего на его судно почетного гостя. О младшем воеводе он даже не справился, точно того и на свете не было. Получив от Прозоровского обычный ответ: "Жив-здоров Божьей милостью", он представил ему поочередно всех своих старшин, а затем и бывших тут же персианина и персианку, едва вышедших из отроческого возраста.

— Это вот сын и дочь астаранского Менеды-хана: княжич Шабынь-Дебей и княжна Гурдаферид.

— Гурдаферид? Славное имечко! — похвалил старик-воевода, с любопытством ценителя всего прекрасного взглядываясь прищуренными глазами в верхнюю часть лица молодой персиянки, неприкрытую чадрой. — И собой-то, кажись, писаная красавица... А ты держишь их все еще в полоне?

— Не в полоне, князь-воевода, ни Боже мой! Они у меня, что и сам ты, в гостях. И ты, сударик, к нам пожаловал? — обернулся тут Разин к Илюше, пронизывая его своим колючим взором. — Ну, что ж, гость тоже будешь. Только с братцем своим тебе нынче, прости, не увидеться.

— А разве его тут нет?

— В город гулять отпросился.

— В город! Так это он, верно, ко мне собрался, а я вот к нему... Этакая досада!

— Как не досадно. Ну, да еще не раз встретитесь. А это, князь, у тебя, я вижу, приказная строка с готовым уже договором? — мотнул Разин головой на повытчика, у которого на

поясе болталась эмблема его звания — чернильница, а в руке были бумажный сверток и гусиное перо. — Ну, что ж, служба службой, сперва рукоприкладство учиним, а там за-прем уж калачом, запечатаем пряником. Читай, любезный, а мы послушаем.

Читал повытчик монотонно, но четко. Уверившись, что крючоктвором-дьяком в договоре ничего существенного не прибавлено, не убавлено, атаман, а за ним и старшины приложили к договору руку, то есть за безграмотством выставили внизу по три креста; после чего вместе с гостями расселись по местам и принялись, по картинному выражению Разина, "запирать калачом, запечатывать пряником". И для "приказной строки" нашлось местечко у краешка стола.

Пока столующие были заняты столь важным по тогдашним понятиям делом, представлявшим для старика-воеводы и высшую усладу жизни, беседа за столом велась только урывками и касалась исключительно еды. Когда же после разных, преимущественно рыбных, блюд дошла, наконец, очередь и до "заедков" — фруктов и сластей, Прозоровский,

взяв себе с серебряного подноса самую крупную грушу, с видом знатока стал разглядывать и самый поднос.

— А важная штука! — восхитился он. — Венецейское, я чай, изделие?

— Венецейское, точно, — подтвердил Разин. — Толк ты, знать, в таких вещах понимаешь. У самого, видно, есть такие ж?

Прозоровский глубоко вздохнул и пожал плечами.

— Подноса-то еще нету... Да и во всей Москве вряд ли подобный найдется.

— А коли так, то в уважение особой приязни не откажи принять его от меня на добрую память. Как встанем из-за стола, так завернуть поднос князю-воеводе! — приказал Разин стоявшему позади его молодому казаку.

Такая отменная любезность со стороны хозяина требовала, естественно, и от гостя если не ответного подарка, то, по меньшей мере, приятных речей. А потому Прозоровский навел разговор вообще на небывалую щедрость Разина.

— Астраханцы мои, — говорил он, — про-

сто души в тебе не чают. Сказывали мне даже — не знаю, правда ль — будто они к тебе и судиться приходят.

— Приходили многожды, индо надокучили! — отвечал с усмешкой Разин. — Да какие ведь иной раз челобитные у дурней, — смехота, да и только! Вчерась еще вот приходят ко мне с рыболовной ватаги, земно кланяются:

— А мы к тебе, батюшка Степан Тимофеич, насчет мошкары.

— Насчет какой такой, — говорю, — мошкары?

— Да насчет той самой, коей на воде у нас видимо-невидимо. Жены, детки наши плачут: нет им от нее покою, да и все тут. Закляни ты ее, злодейку, сделай уж такую божескую милость!

— А ты что же им на то? — спросил Прозоровский.

— Не закляну я вам ее, — говорю, — без мошкары у вас и рыбы-то не будет.

Рассмеялся воевода, рассмеялися и старшины казацкие, и прислужники. Безучастными остались только трое: сын и дочь Менеды-хана да еще Илюша. Внимание Илюши,

впрочем, было отвлечено какой-то шумной возней за рубкой судна. Судя по долетавшим оттуда отрывочным возгласам и топоту ног, там происходила нешуточная борьба.

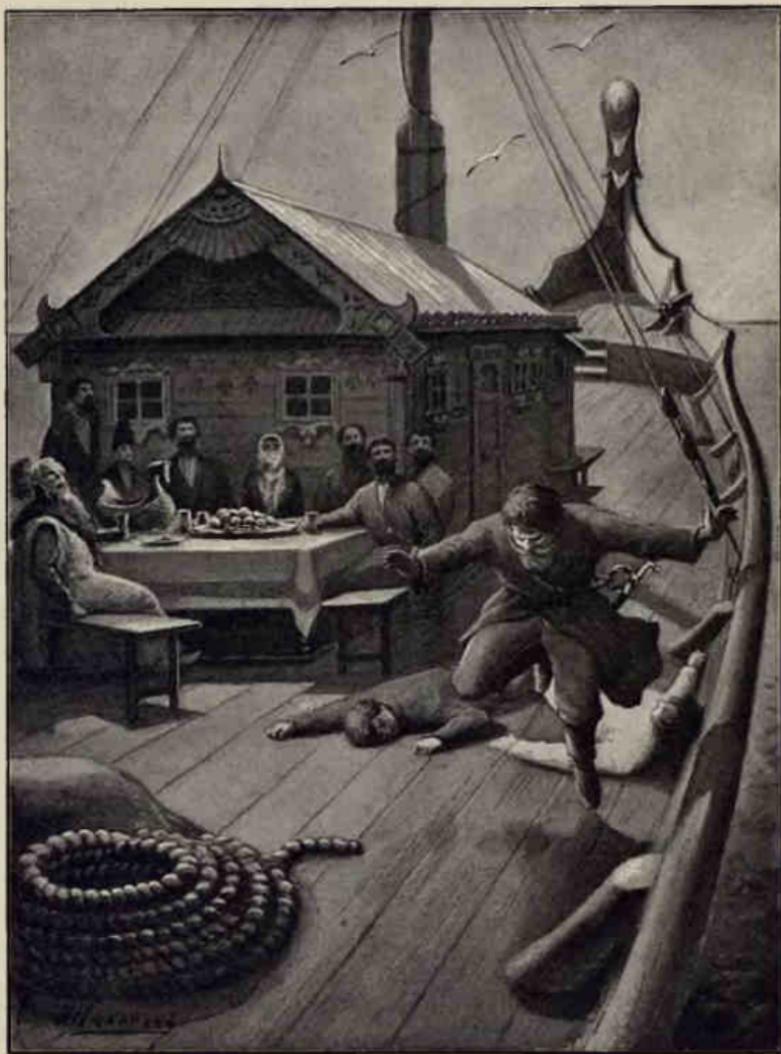
— Пусти, говорят тебе! — крикнул тут явственно звонкий юношеский голос.

"Да это никак Юрий?"

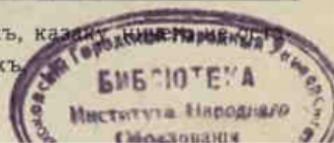
И Илюша сорвался с места, чтобы убедиться, так ли.

Но в это самое время из-за рубки вылетел уж сам Юрий, а за ним здоровяк-казак. Налетел Юрий на младшего брата так стремительно, что сшиб его с ног, да и сам не удержался уже на ногах. Чтобы с разбегу не спотыкнуться на упавших, догонявшему Юрия казаку ничего не оставалось, как перепрыгнуть через обоих.

Произошло все это так неожиданно и было так комично, что опять рассмешило всех сидевших за столом; даже сидевшая рядом с Разиным княжна Гурда-ферид в этот раз тихонько захихикала. Только сам Разин нахмурился и сердито покосился на свою молоденькую соседку. Но неприкрытые чадрую прелестные черно-бархатные глазки ее, обыкно-



Чтобы не спотыкнуться на упавшихъ, каждаго
валось, какъ перепрыгнуть черезъ обоихъ.



венно такие грустные, искрились теперь детскою веселостью — и угрожающие морщины на лбу казацкого атамана разгладились.

— Поди-ка сюда, поди, — с притворною строгостью поманил он к себе пальцем прыгуна-казака. — Как же это ты выпустил молодчика из каморки?

— Виноват, батько... — пробормотал тот. — Вьется, вишь, что вьюн, да такая, поди, силища...

— И с юнцом-то не справился! Ай да казак! Пристыженный атаманом перед всеми старшинами и гостями казак не знал, куда и глядеть.

— Виноват, батько... — повторил он. — Оплошал маленько.

— То-то, что не маленько. Ну, да ради дорогих гостей эта оплошка тебе, так и быть, на счет не поставится. Ступай.

Прощенный поплелся вон с опущенной головой, хорошо, видно, сознавая, что следующая "оплошка" для него не пройдет уже даром.

Глава семнадцатая КНЯЖНА-ПОЛОНЯНКА

Между тем Юрий, схватив Илюшу под рубку, увел его за рубку, где крепко его обнял и расцеловал.

— Шмель говорил уже мне про тебя, — начал он скороговоркой. — Как ты попал сюда? И что дома у нас в Талычевке?

Обстоятельный рассказ младшего брата он то и дело прерывал дополнительными вопросами; а когда Илюша передал ему, что, по мнению Богдана Карлыча, последнее и единственное средство исцелить их отца от паралича, это — потрясти его душу сильною радостью, глаза Юрия наполнились слезами.

— Да поможет ли еще это батюшке? — прошептал он.

— Поможет или не поможет — вперед никто тебе не скажет. Но Богдан Карлыч, конечно, не пустил бы меня за тобой, ежели б не надеялся: а он, сам ты знаешь, какой искусный лекарь.

— Так-то так...

— Значит, Юрик, ты едешь назад со мной? Как я рад, ах, как я рад!

И в порыве радости Илюша снова прижал к груди брата. Но тот высвободился из его объятий.

— Я тебе этого не могу еще наверное обещать...

— Отчего не можешь? Ведь не связал же ты себя нерушимой клятвой с этими разбойниками...

Юрий зажал ему рот рукою.

— Бога ради, не называй их так! Услышат, так мне несдобровать. Клятвы им я никакой не давал. Но дело в том, Илюша...

Видимо затрудняясь, с чего начать, он опять запнулся. Еще более сбитый с толку, Илюша вгляделся пристальнее ему в лицо. В первый раз с момента их встречи он хорошенько разглядел его теперь. За три месяца Юрий с виду сильно изменился. Не только волосы его были острижены по-казацки и все лицо обветрилось и загорело; он заметно также похудел и возмужал, около углов рта и на лбу у него появились скорбные складки, а глаза лихорадочно вспыхивали и как-то бес-

покойно бегали по сторонам.

— Так что же, Юрий, что? — заговорил опять Илюша. — Тебе так уже полюбилося их привольное житье...

— Привольное житье! — с горечью прервал его Юрий. — Для кого оно приволье, а для кого и пытка. От Шмеля я столько слышал про их вольную волюшку, что ни о чем больше и думать не хотел. "Лишь бы добратся, — думаю, — к ним на Волгу..."

— Да ведь они не были же еще тогда на Волге?

— Нет, они стояли тогда еще в море за целых десять ден от Астрахани у Свиного острова. Но под Кумышином нам попалась ватага донцев, что переволокли только что свои лодки сухим путем с Дона. Шмеля они знали еще раньше на Дону и охотно взяли нас с собой. Протоком Ахтубой мы, минуя Астрахань, проскочили прямо в море, а там доплыли и до Свиного острова.

— Так ты был, значит, и при кроволитном бое с астаранским ханом?

По всему телу Юрия пробежала нервная дрожь, и он закрыл себе глаза рукою.

— Не напоминай мне об нем, не напоминай... — пробормотал он. — Это не бой был, а бойня... Убитых и не сосчитать...

— И сам ты тоже убивал людей!

— Нет, у меня духу на то не хватило...

— И славу Богу! Ты, Юрий, точно стыдишься своей доброты.

— Не доброты, а малодушия: то были ведь все же нехристи.

— Нехристи, но не враги: они тебе ничего дурного не причинили.

— Вот оттого-то у меня и рука на них не поднялась... А казаки меня потом высмеивали... И сам атаман объявил мне, что в казаки я не гожусь...

— А я гожусь! — раздалось тут задорно около двух братьев.

— Ах, это ты, Кирюшка? — сказал Илюша и приятельски поздоровался с подошедшим к ним товарищем их детских игр.

— А я гожусь! — повторил Кирюшка. — Я все их свычай и обычай уже вызнал и не дам тебе маху. За мою храбрость мне и от дувана их тогда малая толика перепала.

— И не за что! — с нескрываемым презре-

нием заметил Юрий.

— Как не за что? Сам ты, чай, видел, как я одного в ангельский чин снарядил.

— То есть добил раненого и беззащитного? Велика храбрость! Молчать бы тебе, а не хвататься.

— Да сами-то казаки, ты думаешь, отчего храбры?

— Отчего?

— Оттого, что носят на груди ладанки с барсучьей шерстью.

— Полно тебе вздор городить!

— Ан не вздор. И у Шмеля такая ж ладанка.

— Да польза-то от нее какая?

— А польза такая, что чрез барсучью шерсть дьявол в человека свою дьявольскую злобу и кровожадность вселяет. Вот погоди, как раздобуду я себе тоже барсучьей шерсти...

— И продашь свою душу дьяволу? — возмутился Илюша. — Слушать тебя тошно! Отойди, пожалуй. Так что же, Юрий, — обратился он к брату, — коли тебя не принимают в казаки, так и оставаться тебе у них уже незачем.

— Да ведь ты видишь, что они держат ме-

ня здесь взаперти.

— Потому что знают от Шмеля, что ты боярского рода, и хотят получить за тебя богатый выкуп.

— И ничего не получают! Денег у меня никаких нет.

— Да воевода внесет их за тебя, а вышлем ему потом из Талычевки.

— Так вот он нам сейчас и поверит!

— Да ведь он старый друг и приятель нашего деда. Вот хоть сейчас пойдем, попросим его; он предобрый...

— Нет, нет, Илюша, оставь уж, не нужно...

— Как не нужно?

Отошедший в сторонку, но продолжавший прислушиваться к разговору боярчонков, Кирюшка зафыркал в кулак.

— Ты чего там опять? — с неудовольствием обернулся к нему Юрий.

— Выкуп выкупом, а есть у нас причина поважнее!

— Какая причина? Ничего ты, глупый, не смыслишь!

— Кое-что, может, и смыслю. Хочешь, я тебе загадку загану? "Без кого кому цветы не

цветно цветут, деревья не красно растут, солнышко в небе не сияет радостно?" Ну-ка, разгадай.

— Пошел прочь! Сказано ведь тебе? — буркнул Юрий, вспыхнув до корней волос. — По людям только пустой говор пускаешь...

— Ага, то-то же! Присушила добра молодца краса девичья.

Юрий гневно топнул ногой.

— Уйдешь ты наконец или нет?

Кирюшка понял, что и нахальству есть предел; в виде последнего протеста свистнув, он ушел вон.

— Про кого он это говорил сейчас? — спросил Илюша. — Уж не про княжну ли полонянку?

— Вестимо, что про нее, — нехотя сознался Юрий. — Видит, дурак, что я жалею ее, как и ее брата-княжича...

— Только жалеешь?

— Только!

— Ты, Юрий, с самим собой не лукавишь? От жалости твоей им ни тепло, ни холодно; вызволить их отсюда ты все равно не можешь.

— Ты думаешь?.. — и Юрий понизил голос до чуть слышного шепота: — Я обещал уже княжичу помочь им обоим бежать.

— Да как же ты один-то им поможешь?

— Не один, а с Кирюшкой.

— Если он тебя не выдаст!

— Ну, нет. Он — как злющий, но верный пес: лает, ворчит, а хозяину все-таки руку лижет.

— И ты сговорился уже с Кирюшкой?

— Покамест еще нет. Надо еще раз столкнуться с княжичем...

— Мне за тебя страшно, Юрий: ты и их-то, и самого себя погубишь!

— Ну, значит, туда и дорога...

— Что? Что ты сказал?

— Туда и дорога! — с каким-то ожесточением повторил пылкий юноша, и в глазах его загорелся огонь безумной решимости.

— Ну, Юрий, знаешь ли, это у тебя в самом деле уже не простая жалость: княжна заморозила тебя...

— Ну, заморозила! Пусть так! — вырвалось тут у Юрия невольное признание. — Сердце у меня тоже не каменное! Ты, Илюша, слишком

молод и понять этого еще не можешь.

— Одно-то я все же понимаю, что чужая де-вушка тебе дороже родного отца.

— Не говори этого, не говори! Для батюшки я готов хоть сейчас жизнь отдать; но княжна с отчаянья, того и гляди, сотворит что над собой, и я буду за то в ответе. Обещавшись раз, я не могу ее уже обмануть, не могу!

— Ты, Юрий, ей-Богу, теперь точно бесноватый. Ведь ты с нею и слова еще не перемолвил? Она не понимает ведь по-русски?

— Понимать-то понимает. Нянькой у нее была полонянка из казачек... Но что это там, слышишь? Точно она плачет?

Юрий выбежал из-за рубки к атаманскому столу; Илюша — вслед за ним. Все поднялись уже со своих мест. Княжич Шабынь-Дебей стоял понуря голову, с убитым видом, как приговоренный к смерти; княжна Гурдаферид обхватила руками его шею и, укрыв лицо на его груди, плакала навзрыд.

— Ну, полно, голубка моя, полно! — говорил Разин, и в голосе его можно было слышать совершенно несвойственную закоренелому разбойнику нежность. — Не навеки ж

разлучаетесь: будущим летом княжич будет к нам в гости на тихий наш Дон.

— А что бы тебе, Степан Тимофеич, отпустить ее теперь же с княжичем? — вступился тут, разжалобившись, Прозоровский. — Смотри, как она, бедная, убивается!

— Расставаться, знамо, скоробно, не сладко. Но я и то, батюшка князь, делаю тебе немалую уступку: отпускаю княжича без всякого выкупа. Тебе — княжич, мне — княжна; грех пополам.

— Так-то так, и добрую волю твою я не забуду: выговорю для тебя у ее родителя хороший выкуп.

— Да этакую красаву и всеми богатствами персидского царства не выкупить.

— Так что же, Степан Тимофеич, скажи-ка по совести, ты и вправду повенчаться с нею хочешь?

— Как примет только нашу православную веру, так в первый же мясоед и под венец. Да ты, княжич, что воды-то в рот набрал? Втолкуй ей, дурашке, что жить она будет у меня в изобильи и в почете...

Шабынь-Дебей стал было передавать сест-

ре по-своему слова атамана. Но Гурдаферид не дала ему договорить.

— Нет, нет, нет! — всхлипнула она и еще крепче прижалась к брату.

Терпение непреклонного казацкого атамана истощилось.

— У баб, что у пьяных, слезы дешевы, — пробурчал он, и глаза его злобно засверкали. — Эй, молодцы! Уведите-ка княжну в ее покойчик.

Два молодых дюжих казака, прислуживавших за столом, бросились исполнить приказание атамана; один обхватил полонянку вокруг стана, а другой стал насильно отцеплять ее руки от шеи княжича.

— Ну, ну, ну, не Замайте мне ее! — напустился на них Разин.

Внезапно в руке Гурдаферид блеснул кинжал. Выхватила она его, как оказалось, из-за пояса одного из казаков и нанесла бы ему, без сомнения, опасную рану, не схватись он одной рукой за лезвие кинжала. Другой рукой в то же время он схватил руку девушки, державшую рукоятку кинжала, и сжал в кулаке своем с такою силой, что пальцы у нее хруст-

нули и бедняжка вскрикнула от боли. Тем не менее рукоятку она все еще не выпускала и, извиваясь всем своим гибким стройным телом, силилась высвободить лезвие из казацкого кулака. Как назло тут, однако, кисейная фата, прикрывавшая нижнюю половину ее лица, распахнулась, и казак увидел вдруг все лицо красавицы-персианки. Увидел — и остолбенел, не мог отвести уже глаз. Воспользуйся Гурдаферид этим моментом — и кинжал перешел бы опять в ее власть. Но первым делом ей надо было запахнуться опять фатой от нескромных мужских взоров, — и кинжал остался в руке владельца.

Засунув кинжал обратно за пояс, казак осмотрел свою израненную ладонь.

— Ишь, разбойница-девка! Как кошка ца-рапается.

— Сам виноват, — заметил ему Разин. — Кровью своей, смотри, чадру ей не запачкай!

Что до молодого княжича, то, будучи сам безоружен, он не делал и попытки прийти на помощь сестре. С сжатыми губами, хмурый и бледный, он проводил ее только глазами, пока она со своими двумя провожатыми не

скрылась за углом рубки, чтобы быть водворенной в своем покойчике. Когда теперь Прозоровский предложил ему перейти с ним на его, воеводский, баркас, юноша, не прекословя, последовал за ним, бросив, однако, мимоходом взгляд непримиримой ненависти на неумолимого казацкого атамана.

А Илюша все еще не мог решиться уйти от брата и спросил его шепотом:

— Так что же, Юрий?

— Да ты разве ее не разглядел? — был ответный вопрос Юрия.

— Разглядел: такой красоты я в жизнь свою не видел.

— Ну, вот; так чего же ты еще спрашиваешь? Обещался ее спасти — и спасу...

— Или погибнешь?

— Или погибну! Воевода, видишь, уже ждет тебя... Прощай.

Глава восемнадцатая В ЗАПАДНЕ

В течение тех десяти дней, что Стенька Разин со своей вольницей оставался вообще в Астрахани, между ним и обоими воеводами установились по виду самые лучшие отношения: воеводы неоднократно пировали у разбойничьего атамана то в шатре, то на "Соколе"-корабле. Такое, на первый взгляд, странное явление известный наш историк Костомаров объясняет довольно просто: "Немало Стенька расположил их к себе своею щедростью, а воеводы тогда были лакомы..."

Со своей стороны, в некоторое хоть оправдание воевод мы добавим, что в те времена царским воеводам не полагалось от казны никакого жалованья; воеводства так и давались им "на прокормление", и большая или меньшая "лакомость" воевод считалась как бы вполне естественной и законной.

Астраханские воеводы не составляли в этом отношении исключения. По преданию, князь Прозоровский под веселую руку поза-

рился, между прочим, и на роскошную соболью шубу Разина, крытую дорогим персидским "златоглавом".

— Знатная на тебе шуба, Степан Тимофеевич! — заявил будто бы он. — Хоть бы мне такую.

— Какая уж это шуба! — отозвался будто бы Разин, которому, видно, не хотелось с нею расстаться. — Не воеводская она, плохонькая.

— Коли плохонькая, так и жалеть тебе ее нечего.

— И не пожалел бы, не будь она у меня заветная.

— Заветная или не заветная — для меня все едино. Не вытерпел тут атаман, бухнул напрямик: — Не в зазор, батюшка, твоей воеводской чести, а глаза у тебя больно завидующие: что ни увидят — то и проглотить хотят.

Обиделся и воевода.

— А ты, атаман, на всякого, как волк зубами лязгаешь. Здесь мы на тебя за твою продерзость ополчаться не станем; но в Москве, не забывай, мы — свои люди: усерднейше ревнуя о благе отчизны можем устроить для тебя не токмо доброе, но и злое!

Отдал тут Разин воеводе шубу, но пригрозил:

— На тебе шубу, да не наделала бы она тебе шуму! С гостями я учлив; на своем стружке обижать тебя не стану. Зато как пожалую раз и к тебе в твои палаты, так прошу не прогневаться: по-своему тоже гостем буду!

Этой размолвкой отчасти может быть объяснена зверская расправа Разина со стариком-воеводой и его семейством в Астрахани же летом следующего за тем года (о чем подробнее будет рассказано нами в своем месте).

Пока что оба воеводы старались по возможности ладить с грозным атаманом: выборных от казацкого войска снарядили в Москву, а на всякие озорства и бесчинства вольницы в городе и на "неподобное" поведение самого атамана смотрели сквозь пальцы. Героем народным гулял он по улицам, мило стиво роняя на ходу бежавшей за ним черни звонкие речи и звонкую монету, а обольщенный им народ кланялся ему в ноги, падал перед ним ниц, хватал его за колени, совершенно чистосердечно его славословя:

— Раделец ты наш, благодетель, отец родной! Предусмотрительный младший воевода настоял, однако ж, перед старшим на некоторых мерах предосторожности: до Царицына в провожатые Разину был назначен "жилец" [12] Леонтий Плохово, который на всякий случай и перебрался уже загодя на "Сокол"-корабль; от Царицына да Паншина-городка казаков должны были сопровождать пятьдесят стрельцов с сотником, а в Черный Яр была отправлена с нарочным грамота, чтобы на берег казаков отнюдь не пускать и вина им не продавать.

А что же Илюша? Раз еще только побывал он в казачьем стане вместе с голландцами, пожелавшими также воочию ознакомиться с житьем-бытьем "разбойников". Но Юрия ему в этот раз так и не удалось видеть: тот замкнулся в своей каморке, и из слов Кирюшки Илюша должен был заключить, что брат нарочно избегает с ним встречи. До слез огорченный, мальчик излил свою душу мингеру Стрюйсу. Но парусник-голландец, человек глубоко верующий, мог дать ему один только совет: уповать на Бога.

— Разин с его казаками забыл Бога, — говорил он, — и гнев Божий, раньше или позже, их не минует. Награбили они тоlikое множество всякого добра, что для своего разгула сбывают оное перекупщикам-азиатам просто за бесценок. Фунт лучшего шелку примерно продают за три копейки! Сам я у них не за грех почел вот что сторговать, — продолжал Стрюйс и, расстегнув кафтан, показал Илюше толстую золотую цепь, которая, обвитая несколько раз вокруг его шеи, спускалась по камзолу до карманчика, где хранились у него часы-луковица. — У нас в Амстердаме за такую цепь с меня взяли бы не менее трехсот флоринов, а здесь я дал за нее, знаешь ли, сколько?

— Сколько?

— Сорок рублей — на наши деньги семьдесят флоринов! Будь у меня лишние деньги, да я в несколько дней сделался бы Крезом!

При всем христианском благочестии практический голландец не переставал быть дельцом. Илюша понял, что и с этой стороны помощи ждать ему нечего.

Так день шел за днем; десять дней уже

улицы оглашались буйными криками и песнями бесшабашных разинцев. На дворе опять смеркалось, и Илюша с тяжелым сердцем готовился идти опять ко сну, когда к нему тихонько постучались. Он отпер дверь и к немалому своему удивлению увидел перед собой Кирюшку.

— Это ты, Кирюшка! И в такую позднюю пору...

— Крадучись ушел, — отвечал Кирюшка, плотно притворяя за собою дверь. — Окромя Юрия, никому у нас о том не известно.

— Так ты от Юрия? Что же ему от меня нужно?

— Это он сам тебе уже скажет. Идем же, идем.

— Без спросу мне нельзя отлучиться. Вот поутру, как только отпрошусь...

— Эвона! "Поутру!" Где-то мы тогда уже будем!

— Что это значит, Кирюшка? Казаки уходят отсюда?

— Видно, что так.

— И тайком, без ведома воевод?

— Молчи, знай, помалкивай!

— Но ведь провожатый от них, Леонтий Плохово, уже у вас на атаманском корабле?

— У нас-то у нас, — усмехнулся Кирюшка, — да когда-то он с хмеля своего еще проснется!

— Его нарочно опоили?

— А то как же; да подбавили к вину еще сонного зелья.

— Этого так нельзя оставить! — объявил с решительностью Илюша и двинулся к двери.

Кирюшка заступил ему дорогу.

— Да ты куда?

— К князю-воеводе; я ему сейчас все расскажу...

— Ничего ты ему не расскажешь!

— Ежели ты, Кирюшка, меня непустишь, так ведь я на весь дом закричу...

— И не закричишь. Коли казаки раз положили уйти отсюда, так и уйдут; никакой силой их никто не удержит. А брату твоему у них не поздоровится.

Довод был убедителен. Приходилось идти на сделку.

— Скажи мне одно хоть, Кирюшка: против самих воевод Разин ничего не злоумышляет?

— Да что с ними тут без него станется?
Нынче же ночью мы снимемся с якоря.

— И уходите куда?

— Это уж не твоя забота.

— То-то, что моя. Коли в море, так они Бог-весть куда еще завезут Юрия!

— Говорить бы не след; ну да Господь с тобой! Уходим мы вверх по Волге на Камышин.

— Это другое дело.

— Так ты пойдешь все-таки проститься с ним?

— Делать нечего, идем.

— Давно бы так.

Улизнул Кирюшка с атаманского корабля незамеченным. Но если он рассчитывал вернуться туда так же незаметно, да еще в сообществе Илюши, то ошибся в расчете. В его отсутствие не только был убран scho-день, по которому он перебрался на берег, но и самый корабль не стоял уже на прежнем месте, так как в построении всей казацкой флотилии произошло перемещение, вызванное предстоящим отплытием. Вдобавок поднявшийся над рекой ночной туман и сгустившиеся сумерки едва давали различать общие очертания су-

дов.

На счастье, а может быть, и на несчастье, на бродивших по берегу мальчиков наткнулся казак, которого сотник его отрядил в город за свежим запасом вина и который возвращался теперь оттуда с полною бутылью под мышкой.

— Вы чего тут шатаетесь, полуночники! — напустился на них казак.

— Да я же свой человек, с атаманского корабля, — с заискивающей развязностью отвечал ему Кирюшка. — Аль не опознал меня, дружище?

— Это ты, оболтус? Какой я тебе дружище! Всякая козявка в букашки лезет!

— Ну, ну, прости; не во гнев тебе слово молвилось. И козявка тоже тварь Божия.

— Да должна знать свое, козявкино, место. Где был сейчас?

— Был я в городе, да не по своему хотенью, а по атаманскому веленью.

— Что ты там мелешь, Кирюшка? — заметил ему шепотом Илюша.

Тот толкнул его локтем в бок, чтобы молчал, а сам продолжал "молоть":

— Спосылал он меня вот за родным братцем нашего боярчонка: отвезем его тоже до Камышина.

— Так бы и сказал. Ну, что же, вам, стало, на атаманский корабль?

— На атаманский; да не знаем вот, где теперича за темнотою и искать его.

— А вон там, впереди других.

— Да туда посуху и не добратся!

— Ну, ладно, так и быть, на своей лодке подвезу уж вас.

— Будь отец родной!

Уселись они в лодку к казаку и минутой спустя причалили к "Соколу"-кораблю. Здесь последовал опять опрос со стороны дневального казака. По брошенному им сверху канату оба мальчика вскарабкались на палубу.

Тут вдруг из окружающей тьмы выросла перед ними могучая фигура самого атамана.

— Вы-то оба отколь?

Природное нахальство сразу покинуло Кирюшку. Путаясь, он залепетал, что гулял-де по берегу, да наткнулся на своего меньшого боярчонка... Но Разин прервал его строго:

— Не лги! Сказывай сейчас: куда и зачем

бегал?

— Его посылал за мной брат мой Юрий, — заявил тут без обиняков Илюша.

— Для чего?

— Хотел проститься со мной.

— Проститься? Значит, этот негодник разболтал уже, что мы уходим? А тебе кто выдал? — обратился Разин к Кирюшке.

— Никто, батюшка Степан Тимофеич. Слухом земля полнится...

— Сам подслушал, стало?

— Ей-ей, нет... Будь я проклят...

Темнота огласилась звонкой пощечиной и воплем Кирюшки.

— И будешь проклят! — сказал Разин. — Ври, да знай меру. Может, и воеводы теперича про то уже знают?

— Нет, окромя меня, он ни с кем больше не виделся, никому не говорил, — уверил Илюша, и в звуке его голоса было столько правдивости, что словам его нельзя было не дать веры.

— Во всяком разе, сударик мой, в город к воеводам ты уже не возвратишься, — объявил ему успокоившийся атаман. — Да и

братцу твоему с тобой не будет у нас так скучно.

— Так мы будем с ним отныне уже вместе? — даже обрадовался Илюша.

— Вместе, в одних хоромах! — усмехнулся Разин и приказал Кирюшке приготовить постель новому постояльцу.

— Вот те и хоромы, подлинно боярские! — говорил Илюше Кирюшка, отворяя дверцу в низенькую клетушку пространством в квадратную сажень.

Юрий вскочил со своей постели — мешка, набитого сеном, — на которую в ожидании брата прилег не раздеваясь.

— Пришел-таки проститься!

— Не проститься, а остаться с тобой, — отвечал Илюша.

— Две пташки в одной западне! — добавил от себя Кирюшка. — За двоих вас атаман-то возьмет и двойной выкуп.

— Ну, это бабушка еще надвое сказала! — как-то загадочно возразил Юрий. — А теперь, Кирюшка, уходи-ка: нам с Илюшей есть о чем еще без тебя потолковать.

И между двумя братьями, снова соединен-

ными после долговременной разлуки, завязалась самая задушевная беседа.

У Юрия не было уже причины скрывать от Илюши настоящую цель таинственного ухода казачьей флотилии. Как, действительно, подслушал мимоходом Кирюшка из разговора Шмеля с другим сотником, сверху от Нижнего шел богатый купеческий караван. Царская грамота, которую разницам отпускались все их прежние вины, была уже в кармане у их атамана. Ждать от воевод какой-либо новой благодати было нечего. А сверху Волги добыча, как по заказу, плыла разбойникам сама в руки. Как же было им упустить такой вожде- ленный случай?

— Но и мы своего тоже не упустим! — говорил Юрий. — Ты видел ведь под кормою нашего корабля запасную лодочку?

— Может, и видел, не помню, — отвечал Илюша. — А что?

— Да в ней все дело. Подстергать караван казаки будут в камышах меж Черным Яром и Царицыным. Как крикнет им атаман: "Сарынь на кичку!", они бросятся на чужие суда, а мы тем часом прыг в нашу лодочку и были

таковы!

— Вместе с княжной?

— Ну, да, конечно! Когда нас хватятся, мы будем уже на берегу; а им в больших их стругах и к берегу-то не пристать: слишком вязко да мелко.

Пылкость и самоуверенность, с которыми старший брат развивал свой рискованный план, заразили и младшего.

— Смелым Бог владеет! — сказал он. — А с самой-то княжной ты, наконец, стоворился?

— Случая все еще не было; да и стовариваться нечего. Знает же она от княжича, что я ее, так ли, иначе ли, выручу.

— А вдруг она еще заупрямится?

— Заупрямится уйти от разбойников и вернуться к своим?

— Да почему знать?..

— Перестань, Илюша, глупости говорить; да это курам на смех!

— А Кирюшку ты упредил?

— Теперь-то мы и без Кирюшки обойдемся, все вернее. Какое счастье, Илюша, что ты опять со мною!

Глава девятнадцатая "САРЫНЬ НА КИЧКУ!"

Третий день уже плыли разинцы вверх по Волге — плыли, как самые мирные люди: гребцы работали веслами в такт распеваемых ими молодецких песен, а товарищи, им подтягивая, занимались каждый своим делом: кто переставлял паруса, кто чистил свое оружие, кто чинил свою одежду; вечером же, когда флотилия стояла на якоре, иные забавлялись и рыбною ловлей неводом, либо на удочку, другие собрались в кружок для приятельской беседы; словом сказать, разбойничьих склонностей у них словно не было и в помине.

Атаманский "Сокол"-корабль шел во главе остальных судов. Сам атаман то и дело появлялся на носу корабля, зорко посматривая вперед. Но кругом была тишь и гладь, и Божья благодать. Солнце ласково светило с безоблачного неба; попутный ветер надувал паруса в облегчение гребцам; над мачтами безотлучно реяли стаи коршунов в чаянии добы-

чи, а мимо них, как бы издеваясь над их жадностью, проносились целыми тучами с громким хохотом черноголовые, сизокрылые чайки-мартышки.

И в самом деле, никакой добычи ни двуногим, ни крылатым хищникам, казалось, не предвиделось. Попадались, правда, временами встречные плоты и рыбацьи ватаги. Окликнет их со своего "Сокола"-корабля атаман, и на голос его, разносящийся по водяной поверхности громогласной трубой, те послушно тотчас останавливаются. Да что взять с таких сплавщиков, не выручивших еще за свои бревна даже грошей? А у рыбаков заберут казаки рыбы, сколько на день им требуется, и отпустят их опять с миром.

Илюше среди ославленной казацкой вольницы вначале было-таки жутковато; но, приглядевшись ближе к отдельным казакам, натурам грубым, но, по-видимому, добродушным, он стал понемногу привыкать к своему новому положению. Ведь и на этом воеводском жильце Леонтии Плохово они волоска не тронули: когда тот, пролежав больше суток пластом в своей каморе, показался нако-

нец на палубе, его провожали только со всех сторон нагло-насмешливые взгляды, так что он счел за лучшее укрыться опять в свою раковину. С того самого часа Илюша его уже не видел.

Княжна-полонянка Гурдаферид, напротив того, являлась всегда аккуратно к атаманскому столу. Правда, в начале своего пребывания у казаков (как слышал Илюша от Юрия), она не хотела и прикасаться к кушанью разбойников. Но Разин, уже порядком охмелевший, как прикрикнет тогда на нее:

— Это еще что за бабьи причуды! На Хвалынском море я такой же хан, как и твой батяка Менеды-хан, а на Волге и подавно. Не станешь кушать, так спущу тебя в воду раков ловить — и поминай как звали! Ну, что же, исполнишь ты мою волю аль нет?

Побледнела голубушка белее полотна, и в глазах у нее выразился такой неподдельный ужас, что и разгоряченный вином разбойник сжалился, опомнился.

— Ну, ну, дурашка ты моя, — заговорил он с небывалой для него мягкостью. — Не станешь кушать, так ведь с голоду ножки протя-

нешь. Не махонькая, слава Богу, понять должна. Чтобы меня, хозяина, не обидеть, может, все же чуточку-то отведаешь? Вкусно ведь, право слово.

И она отведала. С тех пор она никогда уже не отказывалась ни от стерляжьей ухи, ни от бараньего бока с кашей — этих двух любимых блюд непривередливого вообще насчет еды казацкого атамана. Зато, как только Разин со своими старшинами, покончив с едой, принимался угощаться брагой, медом или просто "зеленым вином", она с молчаливым поклонном поднималась с места, брала с серебряного подноса какой-нибудь фрукт, какого-нибудь лакомства: грецких орехов, винных ягод, кишмиша, халвы, рахат-лукума, — и уходила вон неслышною поступью. Иногда она усаживалась поодаль на корме, на нарочно поставленной для нее скамейке, покрытой цветным турецким ковром, а еще чаще того удалялась просто в свой покойчик.

Как-то раз, когда она отворяла туда дверцу, у нее выпало невзначай из рук взятое с собой яблочко и покатилося по палубе к самым ногам Илюши. Мальчик, разумеется, тотчас его

поднял и побежал отдать молодой затворнице, стоявшей еще в нерешительности на пороге своей кельи. Тут-то ему представился случай окинуть покойчик беглым взглядом. Пол был устлан дорогим ковром; стены обиты разноцветным атласом и парчою, а по потолку обведены узорчатым золотым багетом. Над ярко-пунцовой бархатной оттоманкой висело овальное серебряное зеркальце в золотой оправе, усаженной крупными алмазами. Слюдяное оконце было задернуто розовой шелковой занавеской, сама же занавеска прикреплена к гвоздику с алмазной головкой. Лежавшие кругом безделушки пестрели золотом, серебром, жемчугом и самоцветными камнями.

Рассказывая вечером того же дня Юрию о всей этой сказочной восточной роскоши, Илюша заключил свои впечатления словами:

— И все-то это ведь награблено Разинным не для себя, а для княжны! Как она, значит, ему мила! Мудрено ли, ежели она ради него переменит свою веру?..

— Никогда этого не будет, никогда! — запальчиво перебил его Юрий.

— Да ведь он хочет жениться на ней...

— Мало ли что хочет! Она — родовитая княжна, а он — что? Простой казак, разбойник.

— То-то, что не простой, а славный казацкий атаман.

— Уж и славный!

— А то как же: слава об нем гремит теперь по всему Каспию, по всей Волге.

— Но он все-таки не человек, как мы с тобой, а зверь.

— Да, лев, царь зверей: остальное зверье перед ним по земле ползает, а сам он ни перед кем головы не клонит — ни перед кем, кроме княжны: ей стоит лишь словечко сказать — и лев становится ягненком. Вот хоть бы сейчас, посмотри: это ли страшный атаман разбойников? Это — жених с невестой.

И точно: в догорающих лучах вечерней зари рядом с персидской княжной на облюбованной ею скамейке сидел грозный казацкий атаман, но в осанке его не было уже ничего грозного. Что-то ей нашептывая, он глядел на нее с восхищением, с умилением; а она, молча наклонясь через борт, заглядывалась в во-

ду, которая, шипя и пенясь, разбегалась волнистыми струями из-под киля движущегося вперед судна.

— Не жених это, а змей-искуситель... — пробормотал Юрий. — Пройдем-ка мимо: может, услышим, о чем у них разговор.

Оба брата, рука об руку обойдя кругом рубки, вышли на корму и здесь прошли в двух шагах мимо сидевших на скамейке.

Воодушевившись собственным красноречием, Разин настолько возвысил голос, что до слуха мальчиков долетел обрывок его речи:

— Пуцдай мои удальцы там еще воюют; мы же с тобой, лапушка ты моя, женушка моя богданная, будем атаманствовать на вольном тихом Дону, коротать дни ладно и советно...

— Ну, что, брат, слышал? — заметил Илюша, когда они с Юрием прошли опять дальше.

— И все это обман, обман! — не сдавался Юрий. — Он и ее-то обманывает, да и себя, пожалуй: зверь всегда останется зверем.

Что Разин пока еще не закаялся зверствовать, подтвердилось очень скоро — на рассвете следующего же утра.

Сладкий предутренний сон двух боярчон-

ков был внезапно нарушен несколькими выстрелами, а затем и зычным окриком атамана, подхваченным целым хором голосов:

— Сарынь на кичку!

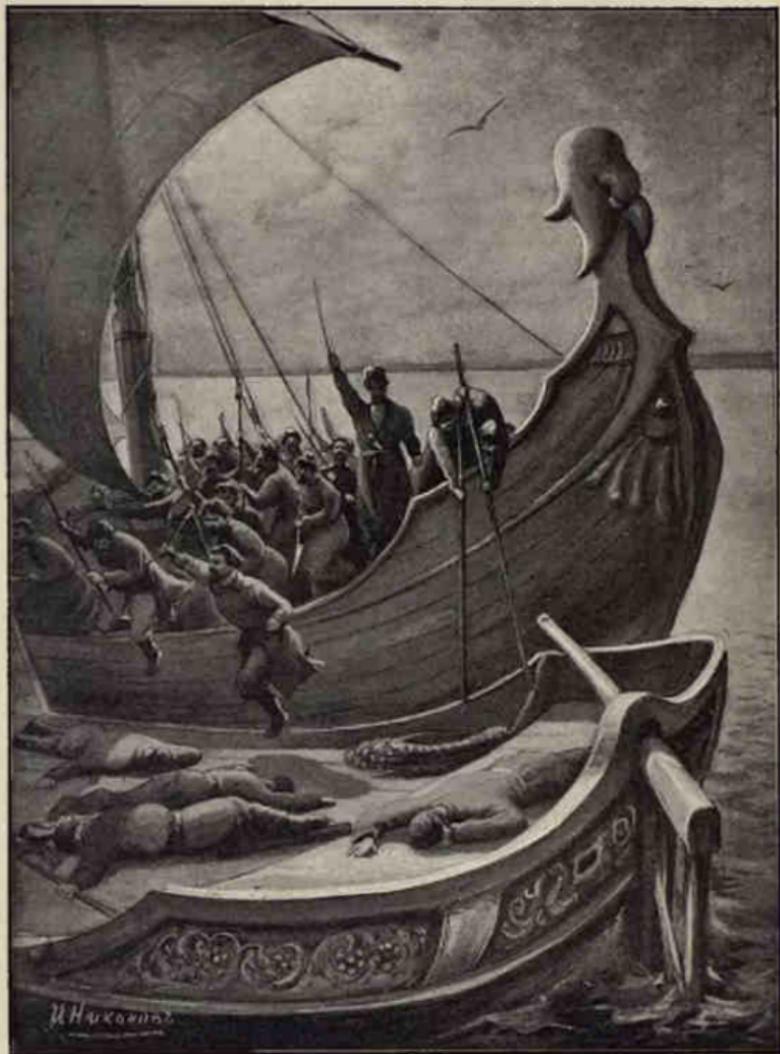
Оба брата одновременно вспрянули с постели. Одеваясь с лихорадочною поспешностью, они временами выглядывали из прорубленного в их

дверце оконца. Еще со слов Шмеля в Талычевке им было известно, что "сарынь" по-калмыцки означает толпа, ватага, а "кичка" — нос. И вот на всех судах встречного каравана вся ватага, в том числе и сопровождавшая караван воинская охрана, упала на "кичку", распласталась ничком. С окруживших же караван казачьих стругов перепрыгивали с борта на борт разинцы.

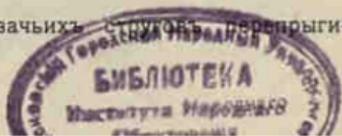
— Ну, Илюша, — сказал Юрий, — казакам теперь не до нас; терять времени нечего. Пойди-ка, отвяжи лодку. Ты один ведь справишься?

— Не такая уж мудрость, — отвечал Илюша. — А ты сам что же?

— Я схожу за княжной. Да не забудь для нее с борта вниз канат спустить: не дай Бог,



Съ окружившихъ караванъ казачьихъ струговъ, перепрыгивали съ борта на бортъ разинцы.



расшибется.

— Не забуду.

С оглядкой выбрались оба из своей каморки. На всем "Соколе"-корабле, кроме них двоих, не осталось, по-видимому, ни души. Илюша шмыгнул на корму, где была привязана запасная лодка, а Юрий обогнул рубку, на противоположной стороне которой был вход в покойчик Гурдаферид.

Тут глазам его представилась совсем неожиданная картина: перед дверцей княжны лежал навзничь, раскинув руки, великан-казак, которого уложила тут, очевидно, шальная стрелецкая пуля. Над ним наклонилась Кирюшка и расстегивал ему ворот рубахи.

— Ты что тут делаешь? — спросил его Юрий. Кирюшка испуганно отдернул руку, но, увидев, что это свой боярчонок и что других свидетелей нет, снова запустил руку за ворот казака и вытащил оттуда вместе с нательным крестом небольшую кожаную сумочку.

— Это ладанка, вишь, с барсучьей шерстью, — объяснил он, — мертвому она все равно уже ни к чему.

— Да он еще жив, смотри — дышит, — сказал Юрий. — Пуля скользнула, знать, только по черепу. Куда ж ты? Постой, надо ему обмыть рану...

Молодая персиняка, перед покойчиком которой происходил этот разговор, слышала его, должно быть, потому что дверь ее приотворилась, и наружу просунулась рука с полным кувшинчиком воды.

— Спасибо, княжна! — поблагодарил Юрий. — Не найдется ль у тебя и полотенца?

Та же рука подала ему вышитое полотенце. Приняв его, Юрий велел Кирюшке держать голову казака, а сам стал сначала обмывать ему рану, а потом перевязывать.

Казак испустил глубокий вздох и открыл глаза.

— Ты ль это, боярчонок? — спросил он, вглядываясь затуманенным взором в черты склонившегося над ним юноши.

— А ты ведь Федька Курмышский? — спросил в ответ Юрий.

— Федька Курмышский, так точно. Спасибо, родной. Недаром Шмель хвалил твою легкую руку. Вот кабы еще глоточек доброго вин-

ца...

Снова из дверцы княжны та же рука протянула Юрию серебряную фляжку. Юрий приставил фляжку к губам казака. Тот сделал здоровый глоток и чмокнул.

— Ай да винцо: подлинно княженецкое! Силы сразу словно вдвое прибавилось.

Приподнявшись на ноги, он вынужден был, однако, прислониться плечом к рубке.

— Ишь ты! Голова кругом пошла, дух захватило...

Но, взявшись при этом рукой за горло, он не нащупал там шнурка, на котором у него висела заветная ладанка.

— Оборвался никак шнурок... — пробормотал он. — Да нет, шнурок-то был крепкий. Верно украли...

И он взглянул на Кирюшку. У того с перепуга "поджилки" затряслись. По пословице "на воре и шапка горит", он еще до прямого обвинения стал оправдываться:

— Это не я, дяденька, вот те Христос, не я... "Дяденька" сгреб его за вихор и залез ему другой рукой за пазуху.

— А это что? — спросил он, вытаскивая от-

туда ладанку вместе с нательным крестом. — Ах ты, вор-грабитель!

И он поднял воришку за вихор на воздух и дал ему такого шлепка, что тот взвыл, а Юрий счел нужным вступиться:

— Да ты его еще изуродуешь...

— Урода не изуродуешь. Христа ведь еще в свидетели призывает, христопродавец окаянный!

В это время подбежал Илюша. При виде Федьки Курмышского он опешил.

— У меня там все готово, Юрий... Как же теперь?.. Оторопел и Юрий. Нельзя было терять ни одной минуты, а этот великан-казак торчит тут перед ними.

— Вот что, Федя, — сказал ему Юрий. — Мы не даем здесь покоя княжне. Отойдем-ка подалее, за угол.

— Отойдем, миляга, отойдем, — отвечал тот и, не выпуская еще из рук Кирюшки, завернул за рубку.

Юрий постучал к молодой полонянке.

— Отопри, княжна! Поскорей, Бога ради...

На пороге показалась Гурдаферид, наскоро запахиваясь чадрой.

— У нас с братом уже приготовлена лодка, — объяснил ей Юрий. — Мы успеем еще съехать с тобой на берег...

Девушка стояла как вкопанная. Если у нее и было желание вернуться к своим, то она не могла не сознавать, что с помощью двух боярчонков ей это вряд ли удастся. Но Юрий, как говорится, закусил удила. Нерешительность княжны он принял за растерянность и схватил ее за руку. Илюша за другую. Гурдаферид только теперь пришла в себя и испустила пронзительный крик.

— Что ты, что ты, помилуй! — увещевал ее Юрий. — Ведь лодка у нас тут сейчас под кормой. Нас не успеют нагнать, не бойся...

Выглянувший на крик ее из-за рубки Федька Курмышский услышал последние слова боярчонка и мигом сообразил, в чем дело.

— Батюшка Степан Тимофеич! — заорал он во все свое казацкое горло. — Товарищи! Сюда, сюда! Измена...

Тем временем Разин со своими молодцами на судах купеческого каравана делал свое "удалое" дело. Одно, самое большое судно было нагружено хлебом, заподряженным каз-

ною для Астрахани, а потому сопровождалось стрелецким конвоем. Остальные суда, составлявшие собственность частных лиц, прикнули к казенному, чтобы пользоваться тою же охраной. Но охрана им на этот раз ни к чему не послужила: магический окрик "сарынь на кичку!" навел на охранителей такой же панический страх, как и на безоружных судовщиков, и они после первых же выстрелов положили оружие. Тем не менее за их вооруженное сопротивление начальник отряда, "в пример другим", был приговорен Разиным к повешению. Обреченный к казни со скрученными за спину руками стоял уже под мачтой, на которую влез один из разинцев, чтобы закрепить там веревку с петлей. Тут с "Сокола"-корабля до слуха неумолимого атамана донеслись последовательно два крика: княжны-полонянки и Федьки Курмышского.

— Обождите малость, ребята, — остановил он экзекуцию и поспешил на свой атаманский корабль.

За атаманом последовал и его "штаб" — казацкие старшины.

— Ты ль это, Федька? — удивился Разин,

увидев перед собой на ногах, хотя и с повязанной головой, Федьку Курмышского. — А я чаял, что ты отошел от сей жизни в вечную, и хотел уже по доброму молодцу поминки справлять — стрелецкого голову на мачту вздернуть. Но чего ты, скажи-ка, звал меня, кричал словно про измену?

— Вот они, изменники, — указал Федька Курмышский на Юрия и Илюшу, — под шумок ладили увезти полонянку твою на лодке.

Разин ожег обоих молниеносным взглядом.

— Правда?

Илюша стоял как в воду опущенный; Юрий же глядел в глаза разбойнику не менее вызывающим взглядом и отвечал без всякого трепета:

— Правда. И сам ты, атаман, на нашем месте сделал бы то же.

— Что сделал бы сам я на вашем месте — не знаю. Знаю только, что теперича ваше место — на мачте!

— Прости уж их, прости! — вступилась тут Гурда-ферид.

Руки ее были умоляюще сложены, в испу-

ганных глазах ее плавали слезы. Слезы эти оказали свое смягчающее действие даже на зачерствелое сердце разбойничьего атамана.

— Ну да, как же! — проворчал он. — Нынче я их прощу, а завтра ты все же сбежишь с ними.

— Нет, нет!

— Она отбивалась от них: и вправду, знать, не хотела бежать, — поддержал тут полонянку Федька Курмышский.

— Не хотела, ой ли?

Гурдаферид отрицательно покачала головой.

— Ты по своей охоте остаешься со мной? Говори же: да?

— Да...

— Касатушка ты моя, серденько червонное! Ну, милостив же ваш Бог! Поклонитесь ей в ножки, вашей заступнице, — отнесся Разин к двум братьям, — не миновать бы вам петли.

— А вот этому молодчику ее не миновать, — сказал Федька Курмышский и хлопнул Кирюшку своей широкой ладонью по спине так, что у того коленки подогнулись. —

Стащил ведь у меня с шеи мою заветную ладанку.

— Да сами-то вы, казаки, мало ли что тащите? — плаксиво огрызнулся Кирюшка. — Все, что плохо лежит.

Это было и самому атаману не в бровь, а в глаз.

— Ах ты, поросенок, туда же захрюкал! — загремел он. — Да понимаешь ли ты, дурацкая твоя башка, что перед нашей казацкой воинской силой весь свет дрожмя дрожит, отдаст нам, не переча, все, чего бы ни пожелали! Что плохо лежит — то не про нас! Давай нам то, что бережется пуще зеницы ока, что ни на есть у кого лучшего, ценного; а не отдашь — на себя уж пеняй: возьмем с бою, ни своей крови, ни чужой не жалеючи!

— Дозволь-ка и мне, батюшка, слово молвить, — заявил тут один из старшин, старый знакомец Осип Шмель.

— Говори.

— Парня этого я ведь привел; так словно бы за него и в ответе. Малый он дошлый, хоть куда, да скудоумный: что с него взять? А вот чтоб напередки умней был, засыпать бы ему,

мерзавцу, с полсотни горячих...

— Ну, что ж, засыпь. А как же нам, товарищи, с головой стрелецким быть-то? Вешать мы его хотели из-за Федьки Курмышского...

— Да прости уж и его ради твоей красавицы, — отозвался сам Федька Курмышский. — Я на него не серчаю.

— Аль совсем тоже простить? — с ласковой улыбкой обернулся Разин к княжне.

— Совсем... — слышалось из-под ее чадры.

— Совсем — так совсем!

Не смея громко роптать на осуждение их начальника к повешенью, стрельцы были, однако ж, настроены крайне враждебно против беспощадного казацкого атамана. Когда теперь до них дошла весть о полном прощении их начальника, настроение их сразу изменилось. Столпившись в кучу, они стали оживленно совещаться, и вот всею массой, с обнаженными головами, двинулись на атаманский корабль. Шедший впереди всех начальник отвесил Разину поясной поклон.

— Мы к тебе, батюшка Степан Тимофеич, с челобитной: не откажи принять нас в твое

славное войско!

— Не откажи, батюшка! Будем служить тебе верой и правдой! — поддакнули хором все стрельцы.

— Спасибо, ребята! — отвечал Разин. — Целую вашего набольшего за всех вас!

И, обняв стрелецкого голову, он поцеловал его трижды накрест.

— Отныне я и вправду буду вашим родным батюшкой, а он — моим меньшим братом и вашим есаулом. Чем больше будет у нас таких молодцов, как вы, тем крепче будет наша казачья сила. Выкатить нашим новым товарищам бочонок!

Воздух огласился ликованиями новых товарищей вольницы. Тут перед Разиным неожиданно предстал Леонтий Плохово, до последней минуты не высывывавший носа из своей каморки.

— Побойся Бога, атаман! Скоро ты забыл милость государеву. Сейчас изволь отпустить стрельцов...

— Да что ты, батюшка, белены никак объелся? — перебил его атаман. — Обычай у тебя бычий, а ум телячий. Кто тут на судах началь-

ствует: ты аль я?

— Кто начальствует?.. — залепетал Плохово, у которого от властного тона казацкого атамана душа ушла уже в пятки. — Да в грамоте-то ты дал с твоими казаками обещание...

— Служить твоему государю, где он нам повелит? — досказал Разин. — И будем служить: в слове своем мы тверды. Эти же молодцы меняют только свою стрелецкую одежду на нашу казацкую; стало быть, остаются такими же слугами царскими, только под моим началом. Правильно я говорю, детки?

— Правильно, батюшка Степан Тимофеевич! — единодушно откликнулись стрельцы.

— Слышал, сударь мой? Перейти к нам никто их не нудил, а чтобы казакам гнать от себя добровольцев — слыханное ли дело?

— Да на меня только сумленье некое напало...

— То-то сумленье. Ты, милый человек, кажись, все еще не очнулся с похмелья? Ступай-ка себе опять в свою горенку, завались до Царицына, а там, коли помехи нам какой чинить еще не станешь, отпустим тебя с миром

И восвояси.

И поплелся Леонтий Плохово обратно в свою горенку высыпать "похмелье", провожаемый дружным хохотом казаков старых и новых.

Глава двадцатая

ЖЕРТВА ВОЛГИ-МАТУШКИ

Ограбленный караван уплыл далее вниз на Астрахань. Уплыл он, впрочем, только с частью своих судорабочих: остальным по примеру царских стрельцов захотелось после честной трудовой жизни изведать раз и разудалое житье-бытье казацкой вольницы, и они также пристали к разницам.

Торопиться казакам было теперь уже незачем: другой богатой добычи пока не предвиделось; а на Волге поднялось сильное волнение, небо кругом обложило тучами, и вдали загрохотал гром: надо было на якоре обожждать грозу.

Пристав к берегу, казаки первым делом "подува-нили дуван", то есть поделили между собой награбленное добро, а затем предались обычному у них в таких случаях разгулу. Бушевание природных стихий как нельзя более отвечало их собственному буйному настроению.

Не участвовали в общем пиршестве толь-

ко наши три талычевца: Юрий, Илюша да Кирюшка. Первых двух замкнули в их каморке на атаманском корабле, а последнего патрон его Шмель втокнул в трюм своего струга, "засыпав" ему перед тем обещанную порцию "горячих".

В сентябре грозы и на юге России значительно реже, чем среди лета. Но, по поговорке "редко, да метко", гроза долго не унималась. Настоящего дождя все еще не было; падали временами только крупные капли. Но молнии беспрестанно разрезали темный полог туч; гром так и перекатывался с одного края неба до другого, а гулкое эхо вторило с нагорного берега реки. Сквозь этот-то неумолчный гул и грохот, сквозь вой и свист ветра в снастях и шумный плеск волн о деревянный корпус "Сокола"-корабля в каморку двух узников-боярчонков долетали нестройные песни подгулявшей вольницы, грубый смех и грубая брань.

— И опять она должна сидеть там с этими гуляками! — заметил со вздохом Юрий.

— Кто? Княжна? — отозвался Илюша. — За атаманским столом сидят все-таки старши-

НЫ...

— Да чем они лучше простых казаков? Тем, что навыкли больше проливать человеческую кровь?

— Но княжна не хотела ведь давеча бежать с нами? Ей лестно, значит, стать атаманшей.

— Нет, этому я все еще не верю; что-нибудь да не так.

— Так вызнай от нее самой.

— Легко сказать: "Вызнай"! Но как только выдастся случай, спрошу ее, непременно спрошу.

Точно навстречу желанию Юрия, дверца каморки снаружи растворилась, и к заключенным заглянул молодой казак — один из прислужников атамана.

— Пожалуйте-ка оба к атаманскому столу.

Юрий быстро переглянулся с братом: "Вот, дескать, и случай!"

— А княжна еще там? — спросил он казака.

— Полонянка-то? Там. А что?

— Да так... Идем, Илюша.

Пировало казацкое начальство, несмотря

на разыгравшуюся непогоду, на палубе, но с подветренной стороны, под защитою рубки. Все были, видимо, уже сильно навеселе, в том числе и сам атаман. Рядом с ним сидела злощастная Гурдаферид, разодетая, без сомнения по его же требованию, в праздничный наряд, блиставший золотом, серебром и драгоценными камнями. Перед нею стоял также золотой кубок, отпитый уже наполовину.

— Что, молодчики мои, острожнички, как живете-можете? — насмешливо-ласково приветствовал двух боярчонков Разин. — Все у нас ноне угощаются, так и для вас лишняя чарочка найдется.

— Нам с братом пить не в привычку, — уклонился Юрий.

— Лиха беда начало, — заметил Шмель, наливая каждому из братьев по полной стопке. — Первая колом, вторая соколом, а прочая мелкими пташками.

— Нет, мы пить не станем, — заявил решительно и Илюша.

— Да что вы — мужчины али красные девицы? — не отставал Шмель. — Ноне, вишь, и наша царевна душа-девица добрым винцом

не брезгает.

— Ну, будет, не трожь младенцев! — сказал, нахмурясь, атаман и покосился на свою полонянку, которая поникла отуманенной головкой, как обломанный в стебельке цветок. — Пущай покамест так посидят, уму-разуму поучатся. Ты, Осип, не досказал нам еще про твоего Мишку. Что было с ним дальше-то?

— А дальше пошла уж самая потеха. Рос он у меня не по дням, а по часам; ручной медвежонок Мишка стал заправским медведем Михайлой Потапычем, по прозванью Топтыгин. Случилось тут ввечеру, иду я в кружало, а Михайло Потапыч мой опять за мной увязался. Хорошо. Пришли, сел я на лавку, а он-то, глядь, прямехонько к стойке, да к бочонку с вином. Запомнил, знать, разбойник, с прошлого раза, что кабатчик для смеху угостил его тоже из бочонка. Схватил теперича лапами бочонок, опрокинул, да и вышиб втулку. Вино полилось на пол рекой. А ему и любо: давай лакать. Ну, хозяину это, знамо, не гораздо показалось; выскочил из-за стойки, да давай отнимать у него бочонок, пока не все

вино еще вытекло. А Топтыгин мой, озлобясь, что не дают ему всласть нализаться, мигом его облапил, подмял под себя, так что ребра хрустнули. Накинулись тут на него хозяйские молодцы, а он лапой одного по зубам — два зуба вышиб; другому рубаху с плеча, да с рубахой и мяса клочок. Вижу: шутки плохи; вылил я на проказника целый ушат воды. Выпустил он тут из лап кабатчика, а тот еле уже дышит, и по сей час, я чай, клянет моего Михаила Потапова сына Топтыгина.

Наградой умелому рассказчику был раскатистый хохот подгулявших товарищей и самого атамана. Не могли удержаться от смеха и оба боярчонка. Одна только Гурдаферид не разделяла общей веселости; выражение ее печальных чернобархатных глаз стало как будто еще печальнее и строже. Заметил это и рассказчик, и был, видимо, задет за живое.

— Да что ты, Несмеяна-царевна, надулась как мышь на крупу? — вскинулся он на нее. — Одно слово: баба!

— Баба бабе розь, — внушительно проговорил Разин, — и про мою княжну никто словечка дурного ронить не моги!

— "Не моги, не моги!" — передразнил его Шмель, наглость которого в хмелю не знала уже удержу. — И сам-то ты, Степан Тимофеич, с нею обабился! Какой же ты, скажи, после этого атаман казацкий?

Шмель не был даже есаулом, а только сотником; продерзость его не могла быть долее терпима. Но прежде чем Разин собрался с ответом, над головами пирующих грянул такой оглушительный удар грома, в глаза им сверкнула такая ослепительная молния, что все разом вздрогнули и зажмурились. В тот же миг через всю реку от берега до берега пронесся бурный вихрь, от которого река разом взволновалась, а соседние струи с треском ударились об атаманский корабль так, что сидевшие за атаманским столом едва усидели на своих местах.

— Вот и наша кормилица Волга-матушка на тебя осерчала, — продолжал неугомонный Шмель. — На пагубу нашу, что ли, крест тебе нами целован? Хочешь ты еще над нами атаманствовать, так распростись-ка со своей басурманкой! А нет, так распростись с атаманством! Верно я говорю, братцы?

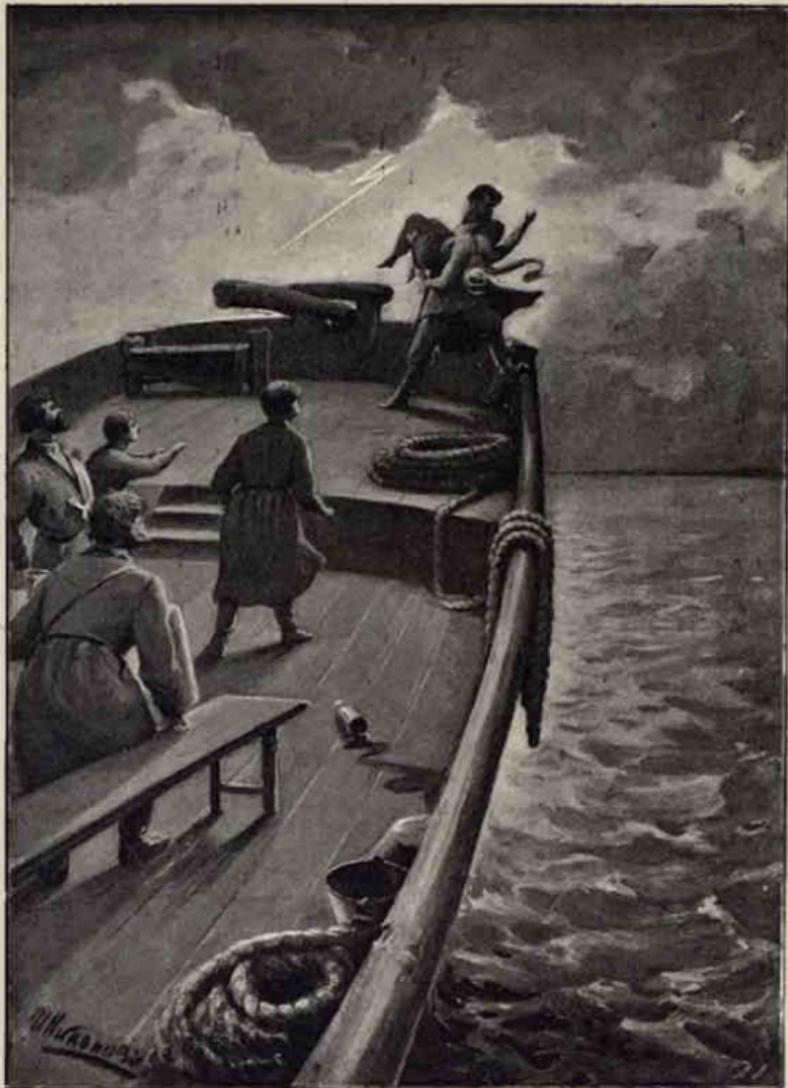
Вопрос был поставлен ребром. Ни один из остальных старшин на него не отозвался: никто из них, видно, не решался еще выступить точно так же открыто против своего грозного начальника. Однако никто и не возражал Шмелю, точно все выжидали: как-то теперь атаман поведет себя?

В первый миг глаза его вспыхнули дикою яростью. Он схватился за кинжал, и жизнь забывшегося сотника висела, так сказать, уже на острие этого кинжала. Но благоразумие и сила воли,

почти никогда не покидавшие Разина, и на этот раз взяли опять верх.

— За пьяной пирушкой, Осип, сменять атаманов не положено, — проговорил он, глубоко переводя дух. — Не такое это пустяшное дело. Наутро и сам ты, может, еще одумаешься. А у Волги-матушки я и вправду еще в большом долгу. Пора мне с нею рассчитаться!

И, говоря так, он взял за руку сидевшую рядом с ним "басурманку", вывел ее из-за стола и поднялся с нею по ступенькам на возвышенную часть кормы своего "Сокола"-корабля.



— Прими же отъ меня, Волга-матушка, самое дорогое и милое,
что ни есть у меня на свѣтъ.



— Ах ты, Волга-матушка, река великая! — возгласил он торжественно-грустно. — Много дала ты мне и золота, и серебра, и всякого добра, наделила меня и славою, и честью. А я о сю пору ничем тебя не отдал. Прими же от меня, Волга-матушка, самое дорогое и милое, что ни есть у меня на свете!

И, схватив Гурдаферид в охапку, он с размаху бросил ее вниз в бушующие волны.

— Хорошо ли я сделал, товарищи?

— Хорошо, хорошо! — раздалось тут единодушное одобрение старшин. — Давно бы так, батюшка!

Но что это с Юрием? Он подбегает к борту, одним махом его перескакивает и летит также в глубину.

"Он за нею, но одному ему ее не спасти!" — мелькнуло в голове у Илюши, и сам он следует уже примеру Юрия, прыгает через борт.

Плавал Илюша немногим разве хуже своего старшего брата и тотчас выплыл опять на поверхность. Но волнение на реке было необычайно сильное. Мальчика то низвергало в водяную бездну, то выносило снова вверх на пенистом гребне волны. С такого-то

гребня при блеске молний он различил в ста шагах от себя вниз по течению голову Юрия, а еще далее шагов на сто что-то цветное — без сомнения, платье Гурдаферид.

Вдруг небеса разрядились полным зарядом громоносных стрел, непроницаемая завеса в вышине разорвалась и полил дождь не дождь, а страшнейший ливень, сплошной водопад. По лицу и темени Илюши хлестало до жестокой боли, и ему ничего не оставалось, как зажмуриться. Его одежда и обувь, пропитавшись водой, тянули его вглубь пудовою тяжестью, а все тело от холодной сентябрьской воды начинало уже коченеть. Приходилось, не раскрывая глаз, наугад работать руками и ногами, чтобы самому только не пойти ключом ко дну.

А силы все слабели, в груди не хватало уже дыханья.

— Юрий! Юрий! — вырвался у бедного мальчика вопль безграничного отчаянья.

Он стал захлебываться... Что было дальше — он уже не помнил; он потерял сознание.

Очнулся он снова уже на берегу, лежа на спине; кто-то усиленно растирал руками его

тело. Он открыл глаза и увидел над собою знакомое усатое лицо с повязанным лбом.

— Федька Курмышский!

— Признал ведь, признал! — обрадовался казак.

— Слава тебе, Господи! Пришел опять в себя, — раздался тут еще более знакомый голос, и к Илюше склонилось лицо Юрия. — Каково тебе, Илюша?

— Да ничего... — отвечал он, не без усилия приподнимаясь с земли и разминая оледеневшие члены. — Озяб только шибко...

— Ну, это тебя от мокрой одежды размочало: на солнышке высохнешь, — ободрил его Федька Курмышский. — Вишь, как оно опять светит, пригревает; совсем по-летнему. Как только ублажили Волгу-матушку, бури как не бывало.

— А что же с княжной? — вспомнилось тут Илюше. — Где она?

Юрий вместо ответа тяжело вздохнул и провел рукой по глазам.

— Где ей быть-то? — отозвался за него казак. — Совсем ведь была еще молода-молодехонька; да уж такое, знать, предопределение

ей вышло...

— Утонула?!

— Да как ей было не утонуть? — произнес вполголоса Юрий, у которого духу, видно, не хватало говорить громко о только что погибшей. — Течением отнесло ее уже далече вниз, а тут слышу за собой, как ты меня кличешь: "Юрий! Юрий!" Стало быть, тоже тонешь...

— И ты оставил ее для меня, поплыл назад?

— А то как же: ты мне все-таки куда ближе! И точно сама Волга хотела отдать мне тебя в руки: волною кинуло мне тебя навстречу. Обхватил я тебя одной рукой, а другой стал править к берегу. Думал уж, что не доплыву, да на счастье попал на мель. Ну, тут, отдышавшись, взял тебя уже на руки...

— Как малого ребенка? Ах ты, милый мой! А ты, Федя, откуда взялся?

— Да атаман послал меня разыскать вас обоих, буде не утонули, — отвечал казак. — Вызвался-то я, сказать правду, сам; долг платежом красен. Да вот маленько опоздал...

— Все равно спасибо тебе, — сказал Юрий. — Но назад-то к атаману твоему мы

уже не вернемся: не товарищи мы вам, казакам!

— А что же я доложу атаману?

— Скажи просто, что не отыскал нас. Ну, прощай. Еще раз спасибо за добрую память!

Простодушный донец по-братски облобызался трижды накрест сперва с Юрием, потом и с Илюшей.

— Прощайте, родные вы мои! А жалко мне, ей-ей, расставаться с вами! Куда вы путь-то держите?

— Куда глаза глядят. От судьбы своей ведь не уйдешь.

— Так-то так. Промеж жизни и смерти и блошка не проскочет. Ну, храни вас Бог!

Глава двадцать первая

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Прошла осень; наступила зима — зима снежная и суровая. Талычевка утопала в сугробах снега. И людей всех, казалось, снегом занесло; осенние работы были ведь давным-давно уже справлены, весенние были еще далеко впереди. И попряталось все живое по своим лежанкам и теплым углам.

Только в верхнем жилье господского дома слышалось бренчанье клавикорд да двухголовое пение. Но сидел за клавикордами уже не учитель: сидела за ними его усердная ученица. Довольно бегло сама себе аккомпанируя, Зоенька пела свою излюбленную колыбельную песенку про татарский полон, а стоявший рядом Богдан Карлыч подтягивал вполголоса хриповатым баском. Но, не допев песенки, девочка наклонилась вдруг лицом к клавишам и залилась слезами.

— Was fehlt dir wieder, mein Herzenskind? (Что с тобой опять, мое серденько?) — спросил участливо учитель-немец, глядя ее по во-

лосам. (Говорил он по-русски свободно, да и охотно, но в минуты душевного беспокойства безотчетно все-таки по-прежнему переходил на свой родной язык.)

— Да где они теперь, где? Живы ль еще? — всхлипнула в ответ Зоенька.

— Где бы они ни были, душенька, они в руках Божьих; без воли Всевышнего ни одного волоска не упадет с их головы.

— Знаю я это, Богдан Карлыч, знаю, а все же душа не на месте. Мне-то уж как больно, а батюшке каково? Верно, оттого он и не поправляется: было два сына, а теперь ни одного!

— Закон природы: к старости родителей дети от них отпадают, как осенью с дерев листья. И ты, душенька, однажды тоже этак отпадешь: выйдешь замуж...

— Я — замуж? Никогда, никогда!

Сперва за своим пенъем, а потом за разговором оба не обратили внимания на звон бубенчиков, слабо доносившийся со двора сквозь двойные обледенелые окна. Только когда за полуотворенную дверь с лестницы из нижнего жилья застучали чьи-то торопливые

шаги, оба замолчали и оглянулись. У обоих забилося сердце, мелькнула одна и та же мысль: "Неужели это они?.."

И вот к ним врываются двое каких-то деревенских парней с раскрасневшимися от мороза лицами, в заиндедевших полушубках.

— Илюша! Юрий!

Зоенька уже в объятьях младшего брата, потом и старшего. И смех сквозь слезы радости, и поцелуи — поцелуи без конца.

— А на мою долю ничего уж не осталось? — говорит, умиленно улыбаясь, Богдан Карлыч.

— Ах, Богдан Карлыч! Прости...

И оба ученика наперерыв целуются с учителем. Затем следуют беспорядочные расспросы с обеих сторон.

На вопрос братьев о состоянии здоровья отца, Зоенька озабоченно переглянулась с Богданом Карлычем, а тот, тихо вздохнув, объяснил, что вообще-то больному лучше; хоть и не встает он еще с постели, а владеет уже парализованною рукой, может и говорить. Только при себе он не терпит никого, кроме своего старого приятеля — приживаль-

да Спиридоныча, и все помыслы его обращены теперь к загробной жизни. Сам Спиридоныч из весельчака обратился в какого-то схимника: день и ночь не отходя от своего кормильца, беседует с ним только о божественном, читает ему изо дня в день священное писание.

— Но примет ли еще тогда нас батюшка? — заметил Юрий упавшим голосом.

— Спиридоныч должен его подготовить, — сказал Богдан Карлыч. — Первым же делом вам надо еще хорошенько отогреться. А то можно бы и баньку истопить?..

— Ой, нет, Богдан Карлыч; это уж как-нибудь после...

— Ну, так покормим вас, по крайней мере, досыта. Чай, наголодались в дороге? Беги-ка, Зоенька, поскорей на кухню.

Недолго погодя все четверо, а также многочисленные приживальцы и приживалки, сидели в столовой за накрытым столом. Ели, однако, только наши два путника — ели и рассказывали; остальные все не сводили с них глаз, точно не веря, что это они, и ловили на лету каждое их слово. Развесила уши, конеч-

но, и подававшая кушанья прислуга, и толпившаяся в дверях дворня: всем хотелось услышать из собственных уст боярчонков об их похождениях среди волжских разбойников.

Эпизод с персидской княжной те обошли пока молчанием; относительно же своего бегства от казаков допустили некоторую поэтическую вольность: будто бы им удалось во время грозы отвязать незаметно лодку и уплыть, но недалеко уже от берега будто бы лодку их волнением опрокинуло, и оба спаслись на берег вплавь. Хотя они до костей промокли и продрогли, но искать человеческого жилья по берегу они уже не посмели, чтобы не попасть опять в руки разинцев. Пришлось идти наугад в глухую степь. Наступила ночь, а они все шли да шли, едва волоча уже ноги, пока не набрели на калмыцкий улус. И что же? Начальником улуса оказался тот самый старец-гелюнг, с которым Илюша познакомился на калмыцком празднике в Астрахани. Памятуя услугу, оказанную Илюшей ему и его внучке Кермине, гелюнг принял его с Юрием как родных. От простуды да от переутомле-

ния оба брата схватили не то лихоманку, не то огневицу и слегли. Старший оправился уже на третьи сутки, младший же только через шесть недель; провалялся бы, пожалуй, и дольше, кабы не какие-то целебные коренья гелюнга. Тогда их посадили на верблюдов и доставили без особых приключений до Казани. Здесь принял в них живое участие воевода, князь Трубецкой, помнивший Илюшу еще со времени проезда его мимо Казани с капитаном Бутлером на царском корабле "Орел". Приласкал он их, снабдил на дорогу теплыми полушубками, дал им с собой и верного провожатого. И вот, почти нигде не ночуя, в две недели с небольшим они прикатили из Казани в Талычевку.

Рассказывал все это, впрочем, больше Илюша. Юрий временами вставлял поправки, не взглядывая с "тарели", как бы стыдясь, что дал вернуть себя с бегов. Когда же все было рассказано, он вполголоса отнесся к Богдану Карлычу:

— Не вызвать ли теперь Спиридоныча?

— Да ведь ты, друг мой, еще и не докушал? — заметил учитель.

— Я сыт, безмерно сыт. Сходи-ка за ним, пожалуй! Удалившись в боярскую опочивальню, Богдан Карлыч вскоре возвратился оттуда вместе с Пыхачем. Давно ли наши боярчонки его не видели, а как он изменился, этот жизнерадостный балясник! Он осунулся, похудел, сторбился, точно постарел не на месяцы, а на целые десять лет. Куда девались его походка вприпрыжку, его шутовские ужимки, его насмешливый задор! Вошел он медленно и шаркая по полу. При виде сыновей своего благодетеля он не выказал особенного удовольствия или даже оживления; в нем как будто притупились все человеческие чувства. Когда же оба брата встали из-за стола ему навстречу, чтобы с ним поздороваться, он только мотнул им головой, словно виделся с ними еще накануне, а Юрию погрозил пальцем:

— Бог долго ждет, да больно бьет!

В одном он, очевидно, остался себе верен: в своем пристрастии к поговоркам и присловьям.

— О прошлом, Спиридоныч, что вспоминать! — сказал Богдан Карлыч. — Обсудим-ка лучше, как поправить дело.

— Порассудим, батенька, вкупе, — про-
шамкал Пыхач, точно у него во рту и зубов не
осталось, — пораскинем умом. Родитель-то
пребывает еще в тяжелой печали, сердитует
на своего блудного сына. Узрит его — неравен
час: из себя опять выйдет, осатанеет.

— Так что же нам предпринять-то?

— Окаменело у него наболевшее сердце.
Уврачевать бы ему, растопить перво-наперво
сердце-то словом Божьим, примерно, прит-
чею Спасителя нашего про блудного сына.
Там виднее будет, что из сего воспоследует.

— А что же, идея хорошая: умнее, пожалуй,
не надумать, — одобрил Богдан Карлыч. —
Мы все покамест будем стоять за дверью...

— Зачем же за дверью? — возразил Илю-
ша. — За дверью даже не расслышать, что бу-
дет говорить батюшка. Голубчик Спиридо-
ныч! Возьми меня с собой.

— Ишь, торопыга! Да при тебе он и притчи
моей не дослушает...

— А я спрячусь за печкой. Когда можно бу-
дет мне выйти, ты только мигни мне. На меня
он ведь не сердит. А после уж мы кликнем
Юрия. Ну, пожалуйста, Спиридонныч! Богдан

Карлыч, ты хоть поддержи меня, скажи ему, что батюшке никакого дурна от того не будет.

Богдан Карлыч поддержал, и Пыхач сдался.

— Ну, хорошо, хорошо, благословясь, идем.

Подойдя к боярской опочивальне, он просунул голову в дверь.

— Спит еще!

И, сделав знак Илюше, он вошел на цыпочках к спящему.

Илюша проскользнул вслед. Юрий с Богданом Карлычем остались в ожидании за дверью.

Эта опочивальня была не летняя, просторная и высокая, описанная уже нами, а зимняя, тесная и низенькая, причем чуть не половину ее вдобавок занимала огромная изразцовая печь. Обстановка здесь также была куда проще. От сильно натопленной печи в горнице было жарко и душно. Притаившись в своем темном углу, Илюша мог оттуда со всем удобством наблюдать за отцом, лежавшим вполоборота к нему на простой дубовой кровати. Как он, бедный, тоже изменился! Из полнокровного и тучного старика он превратился в бледного и изможденного старца. За-

то черты лица его не были уже искажены параличом, и выражение их было хотя и печальное, но спокойное.

Взяв со столика евангелие в толстом кожаном переплете с медными застежками, Пыхач двинул стулом и громко кашлянул — очевидно, для того, чтобы разбудить спящего или, вернее сказать, забывшегося только легкой дремотой. Илья Юрьевич, действительно, тотчас открыл глаза.

— Ты все еще тут, Спиридоныч, не пообедал? — заговорил он, и Илюше показалось, что голос его также потерял свою прежнюю силу и звучность. — Велел бы хоть сюда подать себе поесть, попить.

— Кому дана пища духовная, — отвечал Пыхач, указывая на Евангелие, — тот сыт крупицей, пьян водицей. Не прочитать ли тебе, батя, какую притчу Господню?

— Прочитай, пожалуй.

И, приготовясь слушать, боярин закрыл опять глаза.

— "Рече же: человек некий име два сына..." — начал Пыхач читать ему притчу о блудном сыне.

Со времени своих уроков Закона Божия у приходского попа, отца Елисея, Илюша не забыл еще этой замечательной притчи. Но теперь он слушал ее с совсем особенным, благоговейным вниманием: не так ли же точно и Юрий, любимец отца, после всяческих лишений среди чужих людей возвращается покаянным грешником в отчий дом?

Не прочитал Пыхач еще и половины притчи, как боярин беспокойно зашевелился на своем ложе. Когда же чтение дошло до того места, где отец на радостях велит рабам своим облечь вернувшегося сына в "первую" одежду, дать ему на руку перстень, обуть его ноги, заколоть для него "упитанного тельца" и веселиться: "Яко сын мой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретесе", — тут Илья Юрьевич не вытерпел и резко прервал чтеца:

— Довольно!

— Да притча не кончена, — возразил Пыхач. — Далее речь пойдет еще про другого, доброго сына...

— Довольно, говорю тебе!

— Но ведь и у тебя, батя, как у того, два сына...

— Нету меня уже ни единого, ни дурного, ни доброго: Бог дал, Бог и взял!

Сказано это было таким скорбным, безнадежным тоном, что Илюша также не мог уже сдержать себя и выбежал из засады.

— Дорогой батюшка!

Взглянул отец — и любовно простер к нему обе руки.

— Илюша! Ты ли это, мой добрый сын, мой послушный, приветный!

Илюша порывисто осыпал обе руки его поцелуями, а старик притянул мальчика к себе и припал губами к его лбу.

— Благодарю тебя, Господи! Одного-то хоть пропавшего вернул мне опять...

— Этот птенчик хоть и отлетел на время, да не пропадал: душою он всегда был при отце, — заметил тут Пыхач. — Оставался другой, добрый сын и при новозаветном отце. "Сын мой, — говорил ему отец, — ты всегда со мною, и все мое — твое; радуюсь же я тому, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся".

— Но мой пропавший уже не найдется, не найдется!.. — прошептал боярин, и по его впа-

лым щекам потекли слезы.

— Не скорби, брате: и твой пропавший слезыш найдется...

— Он уже нашелся! — подхватил тут Илюша и громко крикнул: — Юрий, Юрий!

А тот, полуотворив дверь, ожидал только этого зова.

И свершилось ожидаемое чудо: неудержимая радость при виде потерянного сына вдохнула в расслабленного старца утраченную жизненную силу. В нервном порыве он приподнялся с постели и широко раскрыл объятия. А Юрий, прижавшись лицом к его груди и захлебываясь слезами, твердил одно только слово:

— Прости... прости...

— Бог тебя простит! — отвечал растроганный отец и, приподняв за подбородок голову сына, с небывалою нежностью заглянул ему в лицо: — Да дай же поглядеть на себя... Соколы мой ясный!

— Дело сладилось; не мнил я, признаться, что все сойдет так гладко, — вполголоса заметил Богдан Карлыч Пыхачу.

— Как по маслу! — отвечал тот, потирая от

удовольствия руки. — От сего дня я готов опять колесом ходить. А теперича первым делом спроворить бы нам "упитанного тельца". Постись духом, а не брюхом.

Как с его господином, и с ним совершилось вдруг полное превращение. Ликование его, однако, было преждевременно. Оживленные радостью черты Ильи Юрьевича вдруг омрачились.

— Постой-ка, сынок, — строго промолвил он. — Что случилось, скажи, с тем злодеем Осипом Шмелем?

Юрий изменился весь в лице и отвел в сторону глаза.

— С Осипом Шмелем?.. — повторил он и запнулся.

— Да, что с ним?

— Ничего... Он все еще там...

— Где там? На Волге?

— На Волге.

— И гуляет все еще на свободе?

— Да... Он — сотник ведь в шайке Стеньки Разина...

— И у тебя духу хватило оставить его на свободе?

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — всплеснул руками Пыхач. — Ангел Хранитель уберег тебе пропавшего сына...

— А ты, дурак, молчи, когда я говорю! — оборвал его боярин. — По сей день я из-за того Шмеля не оправился еще перед моим царем...

— Кто Богу не грешен, царю не виноват? — не унимался непрошенный советчик. — Сам Сын Божий рече: "Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся, нежели об девяностидесяти девяти праведных, не требующих покаяния". Ты же, Илья Юрьич, одной ногой уже в могиле стоишь...

— Так ему бы меня в нее теперь и совсем уложить?!

— Нет, батюшка, — заговорил тут Юрий, и голос его дрожал от горечи обиды. — Заведомо я тебя печалить уже не буду. Ты гонишь меня назад на Волгу за Шмелем?

— Да, да, гоню! — в каком-то исступлении дикого самовластья и упрямства заревел в ответ ему отец. — Пока он на свободе, ты и на глаза мне не показывайся!

— Твоя воля, батюшка... Не покажусь...

Бедный юноша хотел еще что-то прибавить, но голос у него от накипавших слез осекся. Он отвернулся к образам, перекрестился и, низко потупив голову, двинулся к выходу. Илюша нагнал его и обхватил обеими руками.

— Нет, Юрик, не уходи так... Батюшка у нас ведь больной, погорячился...

— Смири свою гордыню, возложи на себя кротость, — увещевал со своей стороны старика Пыхач. — И сынок тогда смирится, погнется перед отцовской волей...

Но у больного от внезапного прилива крови еще более, должно быть, помутилось в голове, и он с пеною у рта захрипел:

— Вон! Все вон!

— Уходите, уходите! — замахал руками и Богдан Карлыч. — Я останусь при нем.

Не прошло и часа времени, как из ворот усадьбы выезжала та же самая кибитка, в которой давеча приехали оба сына Ильи Юрьевича. Но теперь в ней сидел один лишь старший сын. Никакие убеждения Богдана Карлыча и Пыхача, никакие мольбы младшего брата и сестрицы не могли заставить Юрия

остаться в Талычевке хоть бы один лишний день в ожидании, что отец все же смиростивится: две семейные черты Талычевых-Буйносовых — неодолимое упрямство и непреклонную гордость — он унаследовал прямо от отца.

— "Кто сеет ветер — пожинает бурю", — проводил его Пыхач изречением пророка Осии, а затем прибавил пророчески уже от себя: — Не погнулись и переломятся...

Глава двадцать вторая

КОНЕЦ РАЗИНА

И заснула опять Талычевка — заснула прежней зимней спячкой. С весны туда стали доходить отрывочные, тревожные слухи — не об Юрии, нет (об нем не было ни слуху, ни духу), а о лихом разбойничьем атамане, и с месяца на месяц слухи эти становились все тревожнее.

Укрепившись со своими удальцами на Дону, а именно на острове между станицами Кагальницкою и Ведерницкою, Разин соорудил там за зиму целый земляной городок, прозванный им Кагальником. На призывный клич его туда стекалась отовсюду гулящая гольтьба. Так вскоре у него составила внушительная боевая сила в несколько тысяч человек.

Разгромив сперва калмыцкие и татарские улусы между Доном и Волгой, Разин подступил к Царицыну. Испуганные царицынцы отворили ему городские ворота, а духовенство вышло к нему навстречу с иконами и хоруг-

вьями. Воевода с племянником и приверженными ему людьми замкнулся было в городской башне. Но башенная дверь не устояла, и все защитники воеводы были перебиты и переколоты, а сам он с племянником после всяческих истязаний был потоплен в Волге.

Из Москвы в помощь понизовым городам поплыл на Волгу отряд стрельцов. Но казаки напали на них врасплох; из восьмисот стрельцов осталось в живых всего триста, и те, не желая разделить участь погибших товарищей, примкнули к вольнице.

От Царицына кровавая волна покатила дальше вниз по Волге до Астрахани, а потом обратно вверх через Саратов и Самару до Симбирска.

В то же время посланцы Разина развозили во все концы московского государства "прелестные письма": народ подбивался ими против бояр, дворян, приказных людей и к переходу в вольное казачество с равными для всех правами. Смута принимала угрожающие размеры... Но прибывший из Казани на подмогу к осажденному Симбирску окольный князь Юрий Борятинский с хорошо обученным, ре-

гулярным войском накинулся с такою стремительностью на приставшие к Разину нестройные толпы чувашей и мордвы, а затем и на казаков, что те дрогнули, смешались. Сам атаман их был ранен и едва избежал плена.

С этой крупной неудачи звезда Разина стала меркнуть, пока совсем не закатилась...

В первых числах июня 1672 года по большой Серпуховской дороге по направлению к Москве ехали легкой рысцой три запыленных путника. В одном из них, семнадцатилетнем юноше, не трудно было узнать Илюшу: несмотря на свой статный уже рост и пробиравшийся над верхней губой пушок, он сохранил еще свое прежнее круглое и румяное от роческое лицо, особенно располагавшее к себе своим простодушием. Спутниками его были приживалец-приятель его отца Пыхач и подконюх Тереха, тот самый, что сопровождал его три года назад от Талычевки до села Деднова.

— А мне все как-то не верится, Спиридоныч, что нынче еще мы будем в Белокаменной! — говорил Илюша. — Дивлюсь я только,

как это тебе и Богдану Карлычу удалось все же уговорить батюшку?

— Да ведь истинной-то причины мы ему не сказали, — отозвался Пыхач. — Подпустили мы ему всяких турусов на колесах, что как же, мол, великовозрастному боярскому сыну не побывать раз в столице нашей всероссийской, где церквей сорок сороков, а диковин непочатый край. Ну, сдался, только строго-на-строго мне наказал наблюсти, чтобы никому из придворных чинов ты на глаза не попадался: подалей, мол, от греха.

— Кабы он знал да ведал, что я лажу попасть во дворец к самому государю!

— И в темницу к самому Стеньке Разину! — добавил Пыхач.

— Да верно ли еще, Спиридоныч, что Разин схвачен и что везут его в Москву?

— Сказывали мне в нашем разбойном приказе за верное. Да пора этому извергу рода человеческого и честь знать. Погулял вволю, напился, как пиявица, человеческой крови. А как надругался он над астраханским воеводой и сынками его!..

— Над князем Прозоровским? — подхватил

Илюша. — Господи Боже мой! Князь был сомной всегда так добр... Но как же я про расправу с ним не слышал еще до сих пор ни слова?

— Не слышал, потому Богдан Карлыч не велел без пути тебя печалить.

— Нет, Спиридоныч, я хочу теперь все знать, все! Я, слава Богу, уже не маленький мальчик.

— Что ж, может, и впрямь пора тебе знать: по крайности, как пожалуют кровопийцу всенародне на Лобном месте двумя столбами с перекладиной, так, гляючи, по-человечеству жалеть его уже не станешь.

— Нет, на казнь его смотреть я не пойду! А как же, скажи, расправился он с бедным Прозоровским?

— Как? Да вот как: самого его, раненного уже казацким копьём, он своеручно столкнул с раската вниз головой; а что сотворил он с его сынками!..

— Лучше и не говори! — перебил Илюша. — Еще сниться мне потом будут...

— Не говорить? А вот приснится ли тебе один гость их, который попался тоже под ру-

ку Разину, некий княжич-персиянин... Как, бишь, его?

— Шабьнь-Дебей, сын астраханского Менеды-хана?

— Вот, вот. Так того он, потехи ради, повесил на крюк за ребро.

— Вот страсти-то! И благо был бы в чем повинен!

В памяти Илюши воскресли, как живые, и молоденький княжич, и красавица-сестра его, княжна Гурдаферид, и собственный брат его, Юрий — и глаза его наполнились слезами.

— Ну, ну, ну, вот и размяк! — сказал Пыхач. — Ведь как никак, все они тебе чужие.

— Я вспомнил об Юрии... Жив ли он тоже?

— Жив, жив. Сердце-вещун говорит мне, что он здоров и невредим.

— Да почему же в таком разе третий год уж нет от него весточки?

— Да с кем ему ее прислать-то? А вон, глянь-ка, глянь, и наша матушка Белокаменная, златоглавая.

Вдали из-за деревьев в самом деле забелели "белокаменные" стены, заиграли огнем золотые маковки церковные. Когда они мино-

вали заставу и въехали в самый город, внимание их обратили многочисленные пешеходы, спешившие все в одну сторону.

— Скажи-ка, милый человек, куда вас всех нелегкая несет? — отнесся Пыхач к трусившему рядом с ними человеку, по-видимому, из мещан.

— Знамо, куда, — был ответ, — на Владимирскую дорогу.

— Да там-то что за невидаль?

— А ты сам-то, сударь, отколь, с неба, что ли, свалился? Не слыхал, что славного разбойника Стеньку Разина на казнь сюда везут?

— Эге! Ну, Илюшенька, на ловца и зверь бежит. Пустят ли нас к нему в темницу, еще вилами по воде писано; а тут мы его, безбожника, хошь с другими добрыми христианами воочию узрим.

Илюша не возражал; видел он Разина в ореоле его кровавой славы — как-то переносит он теперь свой всенародный позор?

По мере их движения вперед толпа все более сгущалась. Наконец, на одном перекрестке перед ними оказалась живая стена зевак. Пришлось также остановиться.

— Да верно ли, батюшка, что его мимо здесь провезут? — спрашивала своего соседа дородная и белотелая женщина в ярко-пунцовом опашне и в унизанной жемчугом кике — по всему богатая купчиха.

Сосед ее, судя по ободранным локтям потертого кафтана и по вороху бумаг под мышкой, мелкий приказный, польщенный, видно, обращением к нему такой "барыни", отвечал ей с развязною учтивостью:

— Здесь, сударыня. У нас в приказе весь маршрут, сиречь путь его, доподлинно расписан.

— А как везут-то его — в клетке?

— Нет-с, на телеге, но не на простой, а на почетной: под виселицей.

— Царица небесная! Так, стало, он уже и повешен? Приказный снисходительно усмехнулся.

— Зачем-с. Пристрастный допрос ему и казнь еще впереди.

— Да виселица-то для чего?

— Для вящего, значит, устрашения. Телега с виселицей навстречу ему за ваставу выслана. Там с молодца казацкий чекмень приказа-

но сорвать, а самого в рубище облечь и к виселице цепями приковать.

— Ах, ах! Да ведь он, сказывают, волшебник и ведовством своим всякие оковы с себя снять может.

— Как же! Мало ли что глупый народ болтает.

— Ты сам, знать, больно уж умудрен, — наставительно заметил молчавший до сих пор другой сосед, степенного вида старик, должно быть из старообрядцев. — На Дону его, слышь, сковали нарочито освященною цепью, а то и не удержать бы его, сына дьявола, вот что!

В это время донесся гул голосов, сквозь который явственно можно было расслышать:

— Везут его, везут!

Море людское кругом заколыхалось; но нашим трем всадникам с высоты седла было все видно поверх толпы, как на ладони.

Во главе поезда ехали два пожилых молодцеватых казака.

— Этот вон, сивоусый, с булавой, будет сам наказный атаман войска донского, Корнило Яковлев, — объяснил с самодовольствием приказный, — а другой, помоложе — выбор-

ный от войска, Михайло Самаренин; ими же там, на Дону, он и схвачен...

Но окружающим было не до войскового атамана и его товарища, не до следовавшего за ними отряда донцов. Взоры всех были жадно устремлены далее — на везомого в телеге атамана разбойников, наводившего в течение целого ряда лет ужас на пол-России. Собственно говоря, то не была даже телега, а платформа на четырех колесах. Над платформой возвышалась виселица, а под нею стоял преступник, прикованный к виселице цепями за шею, за руки и за ноги. Везли его три лошади гуськом; справа и слева шли по два стрельца с бердышами на плече; а сзади плелся какой-то человек, коротко прицепленный к платформе за шею.

— Этот вот — брат Стеньки, Фролка Разин, — кивнул на него приказный.

— Ровно теленка ведь на бойню волокут! — отозвался Тереха. — Натворил бед — держи ответ.

Но внимание его, как специалиста по конюшенной части, отвлекла уже странная упряжь запряженных в телегу лошадей.

— А хомуты-то, хомуты как чудно на одрах надеты: верхом вниз! Это, сударь, для чего?

— Затем, что для преступников перед казнью делают все наыворот, не так, как для нас, добрых людей.

— Чтобы и нам, дескать, повадно не было? А это, скажи-ка, что за чудо-кони? — не унимался любознательный подконюх, когда мимо них потянулся обоз, и опытный глаз его тотчас высмотрел трех великолепных аргамаков под богатыми попонами. — Загляденье, да и только! Словно с царской конюшни.

На такой вопрос не наглед ответа даже всезнайка-приказный. Ответить мог, пожалуй, Илюша, которому было известно, что трех аргамаков, посланных персидским шахом с купцом Мухамедом-Кулибеком в дар царю Алексею Михайловичу, Разин захватил у посланца вместе со всеми его товарищами и не выдал даже астраханскому воеводе. Но Илюша не видел ничего и никого, кроме самого Разина. На прославленном, а теперь вконец ославленном казацком атамане не было никаких отличий его недавнего звания; на теле его были одни лохмотья рубахи; ветер иг-

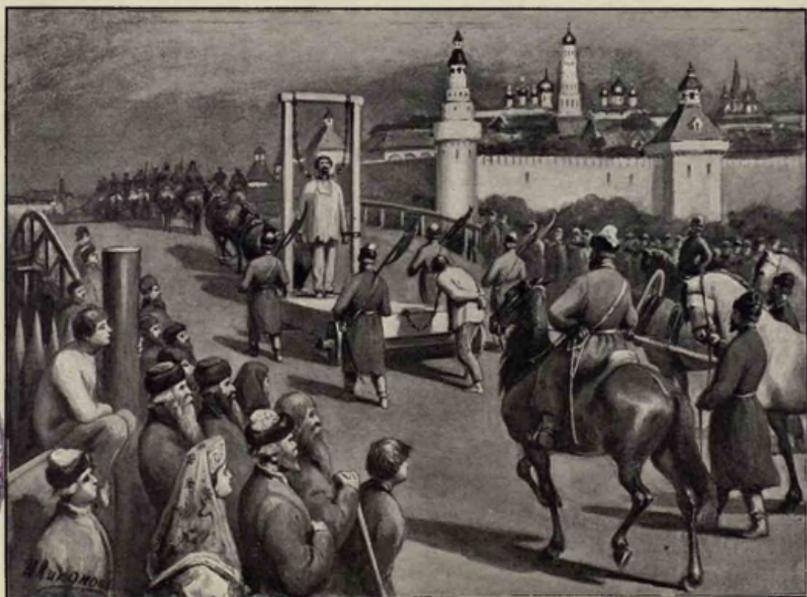
рал его непокрытыми волосами; руки, ноги и даже шея его были скованы цепями. И тем не менее ни в выразительных чертах его, ни в осанке нельзя было уловить упадка духа. Как бы не замечая, что вся Москва сбежалась поглазеть на него, как на невиданное страшное лицо, он не удостоивал ротозеев даже презрительного взгляда, а стоял на своей позорной колеснице неподвижно, как каменный истукан, устремив взор куда-то в пространство.

Вдруг его передернуло, и он быстро глянул в сторону Илюши, словно вынужденный к тому магнетической силой его глаз. Глаза их встретились. Невыразимо горькая усмешка искривила губы разбойника; очевидно, он сразу узнал боярчонка; но вслед за тем он строго потупил взор.

Поезд миновал, и безмолвствовавшая до сих пор толпа стала шумно расходиться. Переезд через улицу стал опять свободен, и наши путники могли тронуться далее.

Московские палаты Талычевых-Буйносовых на Басманной за последние тринадцать лет пустовали. Оставался там сторожем толь-

ко старик-дворник со старухой-женой. Неожиданный приезд Илюши с Пыхачем немало их, конечно, взбудоражил. Но те их сейчас успокоили, заявив, что им ничего особенного не требуется: накормили бы их только чем Бог послал, да приготовили бы для них пару горниц.



Онъ стоялъ на своей позорной колесницѣ неподвижно, какъ каменный истуканъ...

Под гнетущим впечатлением давешней встречи с Разиным Илюша отказался даже от предложенной ему Пыхачем прогулки по Белокаменной.

— С дороги притомился? — сказал Пы-
хач. — Ну, что ж, приляг маленько, отдохни. А
я тем часом толкнусь в сыскной приказ: не
отопрет ли мне золотой ключик дверь к Рази-
ну?

Но и "золотой ключик" в этом случае не
оказал своего волшебного действия.

— Мы так-то, значит, про Юрия ничего и
не доведаемся? — воскликнул в отчаянии
Илюша.

— От Разина-то не сведать, — отвечал Пы-
хач, — его повели, раба Божья, уже на пытку:
не оговорит ли кого из своих?

— Ну, этого-то не дождутся, не таков чело-
век!

Илюша был прав. Несмотря на самые тяж-
кие истязания в течение двух дней, от Разина
не добились никаких показаний, не услыша-
ли ни воплей, ни жалоб на нестерпимые му-
ки. На третий день (6 июня 1672 г.) выведен-
ный на Лобное место, он с непоколебимым
мужеством выслушал свой смертный приго-
вор. Перекрестившись на церковь Василия
Блаженного, он отдал собравшемуся народу
на все четыре стороны земной поклон, прося

простить ему его прегрешенья. Положенный после того меж двух досок, он опять-таки не испустил ни крика, ни стона, когда палач отрубил ему сперва правую руку, потом левую ногу. Только когда брат его, Фролка, выведенный вместе с ним на место казни, при виде его мучений смалодушествовал и заявил, что готов во всем повиниться, Стенька не выдержал и гневно на него прикрикнул:

— Молчи, собака!

Вслед затем голова его скатилась с плеч, а туловище было рассечено на части.

В числе многочисленных казацких песен про Стеньку Разина, сохранившихся в памяти народной до нашего времени, есть одна, которую сам он, по преданию, сложил в темнице накануне своей казни:

*Схороните меня, братцы, между
трех дорог:*

*Меж московской, астраханской,
славной киевской.*

*В головах моих поставьте живо-
творный крест,*

*Во ногах мне положите саблю
вострую.*

Кто пройдет или проедет —

остановится,
Моему ли животворному кресту
помолится,
Моей сабли, моей вострой, испу-
жается:
Что лежит тут вор удалый доб-
рый молодец,
Стенька Разин Тимофеев по про-
званию.

Глава двадцать третья

КОНЕЦ ОПАЛЬНЫХ

На другое утро, едва только Илюша встал со сна, как в горницу к нему влетел с сияющим лицом Пыхач.

— Аллилуйя!

Илюша так и встрепенулся:

— Что, Спиридоныч? Узнал что-нибудь про Юрия?

— Про него-то, увы, нет; а чую, что опале наглей конец.

— Да ведь государь, сказывают, в селе Коломенском...

— Был там, да вечер уже вернулся обратно. Не хотел он только быть на ту пору в Москве, когда казнят Разина. В милосердии своем, да на радостях он и жизнь бы злодею даровал, кабы не боярская дума.

— На каких радостях?

— Да ведь слышал ты еще года полтора назад, что по кончине первой царицы, Марьи Ильинишны, государь женился вдругорядь?

— Как же — на Наталье Кирилловне На-

рышкиной.

— Ну, вот. От первого брака у него дочек-царевен хошь и пять, да царевич всего один как перст — Иван, и тот ненадежен: здоровьем хил и слаб. А предрек молодой царице муж ученый Симеон Полоцкий, что родится у нее преславный сын, равного коему из царей московских еще не было, да и не будет. И вот, неделю назад, мая 30-го, послал ей Господь сыночка, нареченного Петром, такого, слышь, богатырского младенца, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

— А нам-то в Талычевке и невдомек!

— В наше захолустье когда-то еще весть о том дойдет! И сам я нонеча (Случайным только образом на заутрене от старого знакома-пономаря о том сведал. Поднялся я к нему на Ивана Великого по старой памяти трезвом душу отвести, да промеж разговора о том, о сем, он мне про царскую радость и поведай.

— Да ведь теперича, — говорю, — и с боярина моего всемилостивый государь наш опалу, верно, тоже снимет!

— И вестимо, — говорит. — Да чтобы со всем уж верно было, сходить бы тебе, не из-

мешкав, к новому любимцу царскому Матвееву.

— Какой такой это, — говорю, — Матвеев? Знавал я как-то некоего думного дворянина Матвеева Артамона Сергеича.

— Ну, он самый, — говорит, — и есть. Молодая царица Наталья Кирилловна в его же доме воспиталась. А как женился на ней государь, так ее воспитателя он к себе еще более приблизил. По случаю рождения царевича Петра на сих днях пожаловал Матвеева в окольниковые, а через год-другой, того гляди, и в бояре пожалует...

— Так скорее бы тебе сходить к Матвееву! — перебил болтуна Илюша. — А то, может, не лучше ли и мне идти вместе с тобой?

Пыхач подмигнул ему самодовольно-лукаво.

— И ходить уже незачем!

— Как незачем?

— Да для чего ж ходить, коли раз уже хожено.

— Ты успел уже побывать у него? Когда ж это?

— Да прямехонько с заутрени. Вошел я к

нему в палаты — и рот разинул: все-то у него по-иноземному: по стенам картины живописные, на подставках часы затейные, планита небесная... Одно слово: муж нарочитый, высоких понятий и созерцаний...

— Да ты, Спиридоныч, не размазывай! Говори: он тебя принял, выслушал?

— И принял, и выслушал. Да как было не выслушать! Пустил я в ход все свое, божьего человека, велеречие и словество.

— А я к твоей милости, — говорю, — с доукой. Выслушай, возьми терпения малость. К вратам смертным приблизясь, зело боярин мой грустью снедаем, что сойдет и в могилу опальным. Вышла же опала неоглядно, неопамятно...

— Все сие, — говорит, — было, да быльем поросло. Последней тучей на нашем небосклоне был, — говорит, — этот Стенька Разин. Не стало Разина — и небо опять очистилось. Ноне в Успенском соборе имеет быть благодарственный молебен. Велика своему боярчонку выждать выхода царского из собора...

— А там в ноги повалиться и семь раз челом ударить? Все сие, — говорю, — весьма да-

же возможно. Но не погневись на меня, — говорю, — за глупство, а может, и ересь в вашем придворном чине: ты ведь у царя по важнейшим делам первый советчик и вершитель. Не шепнешь ли ты еще перед тем на царское ушко за нас доброе словечко?

— Сделаю все, — говорит, — что в силе моей возможности.

— Да благословит тебя премудрый Господь, — говорю, — и все московские чудотворцы!

— Как видишь, голубчик мой, дело твое обработано в наилучшем виде, — заключил свой многословный рассказ Пыхач. — А теперича обрядись-ка в первое свое одеяние, дабы предстать перед царские очи в подобающем обличье.

Торжественный молебен в Успенском соборе пришел к концу. Стоявшие при входе в храм стрельцы принялись расталкивать рукоятками бердышей, а то и просто локтями и кулаками толпившийся на паперти народ:

— Раздайтесь, православные: великий государь идет!

Толпа послушно отхлынула в обе стороны,

чтобы дать больше простора показавшемуся в воротах соборных царю и сопровождавшей его боярской думе. Вдруг кто-то в задних рядах народа нарушил общее благочиние, стараясь пробиться вперед.

— Ты куда лезешь? — роптали окружающие, озираясь на нахальника — пригожего юношу, судя по "чистому" платью, из боярских детей.

— Дайте пройти, голубчики! Я с челобитной... Умолял он так жалобно и умильно, что возмущение сменилось участием.

— Пропустите уж его, братцы! Господь с ним! Но, выдвинувшись в первый ряд, юный челобитчик вначале обомлел, когда увидел спускавшегося с паперти царя в венце и порфире. Мужественно-зрелые черты лица Алексея Михайловича, как и в годы молодости, были все еще удивительно привлекательны своей добротой и благородством, а теперь, как сдавалось Илюше, светились еще какою-то неземною благодатью — отблеском сейчас только вознесенной ко Всевышнему благодарственной молитвы.

Илюша должен был сделать над собой уси-

лие, чтобы преодолеть охватившее его обаяние и упасть к ногам царским.

— Яви божескую милость, великий государь! Взглянул на него царь и — словно ему что-то пришло на память — благосклонно улыбнулся.

— А в чем вина твоя?

— Вина не моя, государь...

— А родителя твоего?

— Родителя, государь, боярина Талычева-Буйносова. Тому уже тринадцать лет, что на него наложена опала...

— Знаю, знаю, Артамон Сергеич сказывал мне про тебя. Поезжай с Богом к старику, скажи, что все забыто: опала с него снята.

И, милостиво кивнув, государь продолжал свое шествие.

"Все забыто: опала снята..."

Эти знаменательные царские слова звучали еще в ушах Илюши, когда он несколько дней спустя подъезжал опять к крыльцу своего родительского дома в Талычевке. Этими же словами отвечал он на вопрос выбежавшей к нему навстречу Зоеньки:

— Ну, что, Илюша?

Легче ветра влетела девочка опять в дом и в опочивальню отца.

— Все забыто, батюшка: опала с тебя снята! Безучастный взор Ильи Юрьевича вспыхнул молнией.

— С чего ты взяла?

— Илюша сейчас только вернулся из Москвы... Подбежав к открытому окошку, Зоенька крикнула брату, только что сдавшему своего коня Терехе:

— Илюша! Скорей сюда, скорей!

И Илюша уже у отца, припадает к его руке, наскоро передает ему о том, как, благодаря Спиридонычу, новый царский любимец, окольник Матвеев, упредил государя, и как затем, при выходе царя из Успенского собора, он, Илюша, бил ему челом.

С самого изгнания своего "блудного сына" из дома Илья Юрьевич впал в прежнюю угрюмую апатию. Только два раза в день, когда Илюша и Зоенька приходили к нему в опочивальню пожелать доброго утра и доброй ночи, тусклый взор его слегка просветлялся, и рука его осеняла обоих крестным знаменем.

Понятно поэтому, с каким сердечным за-

мираньем оба наблюдали теперь за отцом, на которого известие о снятии с него опалы произвело, видимо, глубокое впечатление; в возбужденных чертах его можно было прочесть не столько удовольствие, сколько досаду от оскорбленного самолюбия.

— Не след было тебе унижаться моим именем, не след! — промолвился он желчно. — Ну, да ведь ты о себе же, чай, больше хлопотал: очистил себе напередки путь житейский ко всяким почестям и отличиям...

— Нет, батюшка, клянусь тебе Богом, — самым искренним тоном уверил Илюша, — о себе я при этом ничуть не думал! Почестей и отличий мне никаких вовек не надо...

— Не заклинайся, сынок. Как отведаешь раз их сладость, так не то запоешь. Моя же песня спета. В Москву я уже ни ногой...

— И я тоже! — подхватил Илюша. — За нашу Талычевку я отдам всю Москву...

Илья Юрьевич недоверчиво улыбнулся.

— Ох, юность несмысленная! Талычевка ведь теперь, можно сказать, без хозяина: какой уж я сам хозяин! Так волей-неволей придется мне не нынче-завтра свалить всю обузу

на твои молодые плечи...

— Молод я еще, батюшка, твоя правда; но работать за тебя готов с утра до ночи хоть с завтрашнего дня. Ты меня только сперва сам наставляй...

— Хоть с завтрашнего же дня? Будь так. Попытка не пытка.

Со всем пылом неиспорченной молодости отдался Илюша своей новой ответственной задаче и, благодаря этому, справлялся с нею уже с самого начала очень успешно, к немалому удивлению Ильи Юрьевича, да и всех вообще домочадцев. Первые шаги его на незнакомом еще поприще направлял, разумеется, старик-отец, который сам при этом входил опять все более в интересы опостылевшего ему было сельского хозяйства, молодец и духом, и телом. В середине лета он проводил теперь уже часа два-три вне постели, а к концу лета — без чужой помощи, опираясь только на трость, спускался с крыльца в сад...

Летние полевые работы были почти все уже справлены, а к осенним еще только приступали. Так Илюша имел возможность, по крайней мере по вечерам, отдаваться своему

любимому развлечению — рыбной ловле. Нередко сопровождала его к речке и Зоенька, для которой по его распоряжению в окружавшем сад заборе была сделана калитка, чтобы девочке не было уже надобности перелезать забор.

Однажды, выйдя этак с Илюшей в калитку к речке, Зоенька заметила вдали какого-то калеку на костылях, с котомкой за плечами.

— Смотри-ка, Илюша, — обратила она внимание брата, — ведь это точно наш Кирюшка!

— И вправду ведь он, да на костылях! — воскликнул Илюша и поспешил навстречу своему товарищу детства. — Помилуй Бог, Кирюшка! Что это с тобою случилось?

— Обновкой обзавелся, — с горечью усмехнулся тот. — Вместо двух ног на трех ковыляю; куда способнее. Из-под самого Симбирска этак сюда дополз. А у меня ведь оттоле для тебя подарочек.

И, сняв с плеч котомку, Кирюшка достал из нее какой-то плоский предмет, завернутый в тряпицу.

— Что это такое? — недоумевал Илюша, развертывая тряпицу. — Да это моя собствен-

ная записная тетрадка! Осталась она, помнится, в Астрахани, в доме воеводы Прозоровского. Как она в Симбирск-то попала?

— А выслали ее к тамошнему воеводе Мирославскому из Астрахани с другими твоими пожитками, чтобы тот отправил их далее сюда, в Талычевку. Ну, а на ту пору случись как раз у Мирославского братец твой Юрий...

— И ты сам его там опять видел?

— Видеть-то видел...

— Да что с ним? Договаривай.

— Договаривать-то нечего...

— Но он жив?

Кирюшка глубоко вздохнул и покачал отрицательно головой.

— Он умер, умер, умер! — вскричала Зоенька, и слезы брызнули из глаз.

Сам Илюша готов был также заплакать. Но ради сестрицы он пересилил себя и стал ее успокаивать.

— И давно он умер? — спросила, все еще всхлипывая, Зоенька.

— Еще в летошнем году, — отвечал Кирюшка, — на Петровках.

— А отчего?

— Да не то от раны, не то с тоски-кручины.

— Ты уж лучше бы толком рассказал, как все было, — заметил со своей стороны Илюша.

И принялся Кирюшка рассказывать, хотя и не то, чтобы с большим "толком". Состоял сам он, Кирюшка, "якобы стремянным" при Осипе Шмеле; с Юрием же "встрелся" совсем неожиданно-негаданно под Симбирском в разгаре схватки разинцев с царскими стрельцами. Попав меж двух огней — симбирского гарнизона и вновь прибывшего из Казани вспомогательного войска князя Борятинского, казаки замешались, побежали. Дольше других держалась сотня Шмеля, хотя от нее не осталось уже и половины. Как вдруг бежит молодой стрелецкий сотник, кричит во всю голову: "Стой, Шмель! Сдавайся!"

— Это был Юрий! — догадался Илюша.

— Да, он. Шмель, знамо, не сдался, и завязалась у них рукопашная. Зазевался я на них, как вдруг меня пулей — казацкой али стрелецкой, сам не знаю — ровно молотком в колено. Заорал я на всю Ивановскую, покатился кубарем...

— А Юрий что же?

— Изловчился он в рукопашной всадить Шмелю кинжал в бок, упал Шмель на спину — да и дух вон. А тут наскочил и на самого Юрия сзади другой казак, рубанул его по башке, и упал он замертво.

— И тут же скончался?

— Нет, товарищи-стрельцы его подняли, отнесли в город. Ну, а я ползком туда же. "Так и так, — говорю, — крепостной я человек этого самого стрелецкого сотника; к казакам попал не доброй волей, забрали они меня силой..."

— И тебе поверили?

— Отчего ж не поверить? Спросили Юрия, а он подтвердил. Ну, мне лекаря отхватили полноги, дали за нее эти вот две деревянные.

— А Юрий так и не выжил?

— Может, и выжил бы, да все, вишь, сокрушался, что убил Шмеля: и во сне-то ему, и наяву мерещился. "Все же, — говорит, — как-никак человек. Хотел его живьем взять, а сторяча убил. Не пережить мне этого, — говорит, — не пережить! Как схоронишь ты меня, Кирюшка, так воротись, — говорит, — в Талы-

чевку, скажи батюшке, не поминал бы меня лихом". Стал он тут хиреть-хиреть, да и отдал Богу душу...

Происходил этот разговор с Кирюшкой, как уже сказано, за бревенчатым забором, окружавшим талычевскую усадьбу, у калитки, выходящей из сада к речке. При последних словах Кирюшки из-за забора послышались глухой стон и падение человеческого тела. Илюша толкнул калитку — и ахнул: на земле лежал его старик-отец с закатившимися глазами, с посинелым лицом. Сразила его, очевидно, внезапная весть о кончине любимца-сына.

— Беги за Богданом Карлычем! — крикнул Илюша Зоеньке, а сам бросился к лодке, чтобы зачерпнуть в черпак воды.

Кирюшка тем временем расстегнул на груди боярина кафтан и камзол. Но все старания обоих привести его в чувство были уже тщетны. Поспешивший по зову Зоеньки домашний лекарь точно так же не мог заставить опять биться остановившееся сердце.

— Третий удар, — объявил он. — Все кончено...

И рассказ наш окончен. Дальнейшая судьба оставшихся еще в живых двух младших членов семьи опального боярина не представляет романического интереса. Хотя опала с покойного отца их и была снята, но в Москву их самих уже не тянуло. Только на старости лет Зоенька, или, вернее сказать, Зоя Ильинишна, уважаемая во всей округе вдова-боярыня, по настоянию своих внучат побывала в Белокаменной проездом в основанную царем Петром Алексеевичем на берегах Невы новую столицу Санкт-Петербург.

Брат ее, Илья Ильич, женившись еще в молодые годы, прожил затем безвыездно до глубокой старости в родовой своей Талычевке, заслужив также всеобщее уважение и любовь соседей за свое образцовое сельское хозяйство и широкое гостеприимство. Не одобрялось людьми старого закала только его чересчур, по их мнению, мягкое обхождение с "подлым народом", в котором он видел чуть ли не равных себе "ближних". С Ильей Ильичем угас старинный род Талычевых-Буйносовых, так как хотя он и был счастливым отцом многочисленных дочерей, но сына ни одного не

имел. Память же об нем перешла в потомство по женской линии, благодаря особенно его путевому дневнику, с выдержками из которого мы уже познакомили читателей в одной из предыдущих глав.

1905



Примечания

1

Мостить улицы камнем Москва стала только 30 лет спустя при Петре Великом.

[^^^]

Кужель или кудель — мочка, вычесанный пучок льна, изготовленный для пряжи.

[^^^]

3

Челиги — самцы ловчих птиц.

[^^^]

4

От сотворения мира; от Рождества же Христова 1669 г.

[^^^]

Хвалынское море — Каспийское.

[^^^]

6

Записи Стрюйса о путешествии его по России. В русском переводе напечатаны в 1880 году в историческом журнале "Русский Архив".

[^^^]

Ефимок (от немецкого Jaachims Thaler) равняется 20-ти алтынам, или 60-ти копейкам.

[^^^]

8

Заготавливать впрок воблу и бешенку начали только со второй половины XIX века. Воблу сушат и коптят, а бешенку солят в виде сельди.

[^^^]

От этого получило свое название и находящееся здесь в настоящее время село Переволока.

[^^^]

Дьяк — письмоводитель, правитель канцелярии; повытчик — столоначальник.

[^^^]

Поражающий в наше время приезжих в Астрахань своей величественной красотой Успенский кафедральный собор был закончен постройкой лишь в начале следующего XVIII века при Петре Великом.

[^^^]

Жильцами назывались, между прочим, выборные от городов дворяне, исполнявшие поочередно разные воинские должности, за что получали особые оклады и вотчины.

[^^^]